ЖОЗЕФ КЕССЕЛЬ

ВСАДНИКИ

«Проза нашего времени»

Жозеф Кессель

Всадники

«Этерна»

1967

Кессель Ж.

Всадники / Ж. Кессель — «Этерна», 1967

Жозеф Кессель (1898–1979) – выдающийся французский писатель XX века. Родился в Аргентине, детство провел в России, жил во Франции. Участвовал в обеих мировых войнах, путешествовал по всем горячим точкам земли в качестве репортера. Автор знаменитых романов «Дневная красавица», «Лев», «Экипаж» и др., по которым были сняты фильмы со звездами театра и кино. Всемирная литературная слава и избрание во Французскую академию.«Всадники» – это настоящий эпос о бремени страстей человеческих, власть которых автор, натура яркая, талантливая и противоречивая, в полной мере испытал на себе и щедро поделился с героями своего романа.Действие происходит в Афганистане, в тот момент еще не ставшем ареной военных действий. По роману был поставлен фильм с Омаром Шарифом в главной роли.

© Кессель Ж., 1967
© Этерна, 1967

Содержание

ВЕЛИКИЙ ПРАЩУР 5
Часть первая 18
I 18
II 24
III 31
IV 42
Часть вторая 58
I 58
II 71
Конец ознакомительного фрагмента. 73

Жозеф Кессель
Всадники

Памяти моего отца. Памяти его великой и нежной мудрости.

ВЕЛИКИЙ ПРАЩУР

Грузовики двигались не быстрее, чем караваны верблюдов, а всадники – не быстрее пешеходов. Дорога была такая, что всем приходилось продвигаться с одинаковой скоростью: приближались к Шибару, единственному проходу через величественный и грозный хребет Гиндукуш. Через этот перевал, на высоте 3500 метров, шла вся торговля, все сообщение между Южным и Северным Афганистаном.

С одной стороны дороги – нависали зубчатые, как пила, отвесные скалы, с другой зияла бездонная пропасть. Глубокие рытвины и глыбы камней, оставшиеся от обвалов, мешали движению. Дорога извивалась серпантином и делалась все круче и опаснее.

Караванщики, погонщики мулов, пастухи со стадами овец были измотаны усталостью и холодом, страдали от разреженного воздуха. Вытянувшись цепочкой, словно муравьи, прижимались они к скалам – там хоть риск свалиться был не такой большой.

Другое дело – грузовики. Дорога часто становилась такой узкой, что машина занимала всю ширину ее, и колеса чуть ли не повисали в воздухе, еле прикасаясь к осыпающемуся краю. Малейшая неосторожность или неловкое движение шофера, неполадка в моторе или тормозах – и до срока изношенные, плохо ухоженные машины могли полететь в пропасть. А груз, всегда намного превышающий допустимую норму, на крутых склонах делал грузовики и того менее управляемыми. И дело было не только в излишнем количестве тюков, ящиков, корзин, мешков и узлов.

Поверх своего багажа, на крышах грузовиков, а если крыш не было, то на брезенте, сидели и лежали в изрядном количестве люди.

Тесно прижавшиеся друг к другу, они образовывали живую пирамиду, бесформенную копошащуюся, неустойчивую, прикрытую чувствительными к порывам ветра нищими одеяниями и чалмами, из-под которых выглядывали смуглые лица; и все это качалось, то опускаясь, то подпрыгивая на рытвинах.

На одном из грузовиков, на самой верхушке пирамиды, сидел глубокий старик. Чтобы оказаться наверху, ему не пришлось прилагать никаких усилий. Просто он был настолько изможден, что стал совсем невесомым, стал вообще бестелесным, а народ, накапливавшийся от самого Кабула и образовывавший слой за слоем, выталкивал его из себя, и старика поднимало все выше и выше над плохо натянутым брезентом.

Ступни его касались чьего-то затылка, и, заклиненный между двумя крепкими шеями, он наблюдал за едва заметно – настолько медленно ехал грузовик – проплывавшие мимо цепи и вершины Гиндукуша. Склоны, гребни и пики гор были словно покрыты какой-то серой коркой. Гигантские массивы мрачных гор, их извилины и уступы, все, вплоть до небосклона, стиснутого высоко над головами и заменявшего здесь горизонт, все казалось покрытым серо-зернистым пеплом веков.

Все реже слышались разговоры между едущими в грузовике. Не слышно стало громких реплик и шуток этих от природы жизнерадостных и добродушных людей, не слышно стало рассказов и раскатов смеха, которые поначалу, до самого Шибиргана, скрашивали путешествие. Теперь лишь кто-нибудь изредка громко вздыхал или вскрикивал или же произносил слова молитвы. Но вскоре и эти звуки тоже умолкли. Разговоры уже не помогали переносить

эту тоскливую унылость окружающего мира. Единственным способом приободриться осталось сохранение общего тепла живых тел. Каждый старался как можно сильнее втиснуть свой каркас в каркас соседа. В тишине.

А вот тот глубокий старик, что возвышался над всеми, не испытывал ни тревоги, ни печали. За окружающим пейзажем словно вымершей планеты его внутренний взор различал сказочно прекрасные долины, шумные города, безводные пустыни, необозримые степи. И все это был Афганистан. Он знал здесь все провинции, все дороги и все тропы. Прошел вдоль всех границ: иранской и русской, тибетской и индийской. И в любое мгновение мог вызвать в памяти эти картины. Жить для него теперь – означало вспоминать. И он просматривал свои воспоминания, мысленно, неторопливо продвигаясь от одной стороны света к другой.

Вдруг очертания гор и сам небосклон исчезли из его поля зрения. Со всех сторон послышались громкие крики, и он опрокинулся на теперь уже совсем бесформенную груду, в которую превратилась гора тел, брошенная сначала вперед, а потом отброшенная к заднему борту грузовика. Крики резко прекратились. Удивление сменилось страхом. Мотор заглох. Шофер тщетно пытался его завести. Тормоза, выжатые до отказа, бешено скрипели, но не могли сдержать огромную перегруженную машину на подъеме. Она еще не катилась назад, но уже как бы в нерешительности покачивалась туда-сюда, потихоньку сдавая. С каждым мгновением деревянные и металлические части кузова получали все большую нагрузку, превращались в вес, в силу, в волю, неподвластные человеку. Грузовик медленно попятился, медленно сдвинулся на один дюйм, чуть быстрее на второй. До пропасти их оставалось совсем мало… Крики возобновились. Те, кто был в середине кузова, видели только спины да головы соседей и кричали:

– Давай, *дайда пайнч*![1]

– Чего там делает *дайда пайнч?* Вцепившись в борта машины, люди отвечали: – *Дайда пайнч* правильно все делает.

– Он у нас вроде бы расторопный и умелый.

– Да поможет ему Пророк!

– Аллах да вразумит его!

Все эти восклицания и слова одобрения были обращены к подростку, почти ребенку, ехавшему снаружи, прицепившись к заднему борту грузовика, рядом с тормозным башмаком, приблизительно такого же роста и веса, как он сам.

При первом же толчке он соскочил на землю. И теперь отцеплял башмак от крючьев, которыми тот был прикреплен к машине. Грузовик стал пятиться быстрее. Теперь и колеса пришли в движение. Еще один оборот колеса и дальше – падение в бездну. *«Дайда пайнч»* заблокировал левое колесо, оказавшееся в самом опасном положении. Грузовик покачнулся раз, другой, третий и замер, перегородив дорогу.

Спереди и сзади его послышались нетерпеливые сигналы клаксонов. Из кабины грузовика высунулась голова водителя в чалме. Он крикнул:

– Всем слезть! Подталкивайте сзади и не залезайте в машину, пока я не скажу.

Пассажиры поспешно слезли на землю. Когда пришел черед старика, его сосед, кузнец с густыми черными волосами, сказал ему:

– Сиди, сиди, дедушка. В тебе веса-то нет совсем никакого. Легче птички.

Двигатель заработал, и грузовик проехал вверх, до очередной разъездной площадки. Пассажиры один за другим взобрались на свои места на брезенте. Кузнец вернулся на место рядом со стариком: он был сильный и потому мог делать что хотел. Запыхавшийся, он произнес довольным тоном:

– Уж я толкал, толкал, устал как черт. Даже бояться забыл, до того старался, а поначалу страх был велик.

---

[1] Пятую скорость. – *Прим. авт.*

– А чего ты так боялся? – спросил старик.

– Как чего, смерти, – отвечал кузнец.

– Не надо было, – тихо промолвил старец.

– Легко сказать, – порывисто, но с почтением возразил кузнец, – но легко только таким, как ты, когда и так уже одной ногой стоишь в могиле.

– Неизвестно, кто ближе к ней стоит, сынок, – возразил старец, – ведь ты ее боишься.

– Как и все… – воскликнул кузнец.

– Вот-вот, – подтвердил старик. – А смерть только в этом и состоит, в великом страхе перед ней.

Кузнец задумчиво почесал совершенно ороговевшим от постоянного контакта с наковальней большим пальцем свои густые черные брови.

– Не понимаю, – произнес он с тревогой в голосе.

– Это ничего, сынок, – ответил старец.

Лицо его было таким иссохшим, что прочесть на нем какое-нибудь выражение было уже совершенно невозможно. Испещренная, изрезанная, изрытая глубокими складками кожа напоминала мелкую-мелкую сетку, в которой затерялись, запутались серо-голубые глаза. Но кузнецу показалось, что по мелким морщинкам, от одной к другой, по иссохшим чертам лица, хотя тонкие, как нити, бесцветные губы и не пошевельнулись, пробежало нечто вроде дрожи, некое сочувствие, отчего во взгляде старца мелькнула искорка. Не поняв ничего больше, кузнец все же почувствовал себя увереннее.

При очередном толчке, который, после стольких других, разбросал и снова сбил в кучу тела на брезенте грузовика, кузнец участливо обхватил могучей рукой плечи старика и сказал:

– Меня зовут Гулям, а тебя, дедушка?

– Гуарди Гуэдж, – ответил старик.

– Гуарди Гуэдж, Гуарди Гуэдж, – повторил кузнец и добродушно улыбнулся.

– Ты легкий, легче перепелочки, – отметил он.

Дорога теперь шла по ровной местности. На высоте около четырех тысяч метров над уровнем моря показался Шибирганский перевал.

* * *

Остановку сделали уже после перевала, на первом ровном месте северного склона, на большой каменистой площадке, ограниченной на западе отвесной скалой, а с востока – ущельем, на дне которого шумела река. В этом будто нарочно созданном месте останавливались все торговые караваны, ведущие обмены между обеими частями Афганистана, разделенного Гиндукушем. Тут всегда стояли десятки машин. Те, что приезжали с юга, выстраивались вдоль реки, а другие – вдоль скалистой стены.

По обе стороны площадки тянулись многочисленные примитивные харчевни. Поскольку главным напитком здесь был чай, черный либо зеленый, у всех этих заведений было одно название – *чайхана.* Каждое из этих саманных сооружений состояло всего из одной комнаты без окон, к которой примыкала терраса под навесом. Здесь-то и располагались путники. Холод и ветер там были злее, чем в помещении, но какой же здравомыслящий человек из-за такого пустяка откажется от зрелища прибытия грузовиков, высадки пассажиров, встречи друзей, путешествующих в другом направлении. Где еще во всем Афганистане, кроме как тут, на Шибаре, можно было встретить на ограниченном пространстве людей из Кабула и Хазареджата, из Кандагара и Джелалабада, из Газни и Мазари-Шарифа! Каждый человек в одежде своей провинции, своего племени: простая рубаха или подогнанная в талии куртка, а то, может, и накидка, тюрбан на голове или каракулевая папаха, шелковая тюбетейка ярких расцветок или высокая мохнатая войлочная шапка. Все они с нескрываемой радостью раскрывали пошире

уши, чтобы внимать этому удивительному концерту голосов, обменивались бесконечными рассказами, новостями, правдивыми или явно ложными слухами, а порой и спорили. Поистине эта стоянка была подарком судьбы, настоящим праздником, и было бы безумием потерять хотя бы одно из мгновений этого зрелища.

Вот почему, не успел грузовик, на котором ехал старец, остановиться со стороны ущелья за теми караванами, которым предстояло продолжить затем свой путь на север, как пассажиры нетерпеливо слезли с брезента и побежали к чайханам. Даже кузнец, поспешно снявший старика и поставивший его на землю, крикнул:

– Я ведь больше тебе не нужен, дедушка, не так ли?

И большими шагами удалился.

Старик перебросил через плечо свой легонький мешочек и застыл в неподвижности. Несмотря на то, что он был стар и что порывы ветра не щадили его исхудавшего тела, держался он очень прямо и с мудрой неторопливостью проникался странным величием этой стоянки в самом высоком месте гигантского массива, в самом сердце Средней Азии, с забравшимися сюда тяжелогружеными, запыленными и выгоревшими на солнце машинами, изрядно потрепанными на ужасных дорогах, с водителями и путниками, пристроившимися, кто сидя, а кто лежа, под навесами примитивных харчевен. А вокруг, тут же, громоздились голые скалы, безжизненные камни, слышался вечный шум реки, и ледяным холодом дышали вершины мира. Гуарди Гуэдж стоял и размышлял о насыщенных потоках людей, вынужденных пользоваться этим перевалом между двумя частями вселенной, о волнах, сменявших здесь друг друга, завоевателях прошлого, о полноводных религиозных течениях…

Старику сейчас казалось, что он видел все это своими глазами. Ведь его жизнь началась так давно… Так много он бродил по афганской земле… У воспоминаний его были такие глубокие корни…

Он задумчиво побрел к ближайшей чайхане.

* * *

Там уже находились некоторые из его попутчиков. Первым, самым непоседливым, вечно спешащим, был конюх – высокий, худой, одетый в длинный коричневый халат на подкладке из овечьей шерсти. Одежда выдавала его происхождение. *Чапан* носили узбеки и туркмены, лихие наездники, населявшие степи на севере Афганистана.

Торопливо вбежав на террасу чайханы, он повел себя там как-то странно. Стал нетерпеливо пробивать себе дорогу между посетителями, не обращая внимания ни на что и ни на кого, буквально наступая на людей, пьющих чай, сидя по-турецки вокруг своих подносов, которые стояли прямо на покрытом истертыми паласами полу. Толкал сидящих на хромоногих табуретах с веревочными сиденьями.

Вслед ему неслись неодобрительные возгласы:

– У, пентюх!

Или:

– Не иначе как свихнулся от высоты.

– Мой мул и тот ступает осторожнее.

Правда, хотя слова были острыми, произносились они довольно благодушно. Всерьез возмутился только один толстый, гладкий мулла. Он пригрозил карами Пророка этому нахалу, чуть не повалившему его наргиле.

А тот, ничего не слушая, продолжал шагать, вытянув шею, чтобы лучше видеть своими напряженно всматривавшимися блестящими раскосыми глазами, примостившимися на скуластом лице. Наконец, возле невысокой стенки, отделявшей террасу от дороги, он увидел то, что искал: *чапаны.* Таковых оказалось два: один – густо-красного цвета с черными полосами, дру-

гой – цвета опавших листьев с зелеными полосами. Люди в этих халатах были уже немолоды. Конюх видел их впервые, но это было не так уж важно. Они были его братьями и по одежде, и по степному образу жизни. Из всей толпы, окружавшей его, где были представлены все уголки афганской земли, только они могли его понять и разделить его чувства.

Чапан густо-красного цвета и *чапан* цвета опавших листьев потеснились, чтобы уступить место конюху. Он, впрочем, даже не заметил этого.

– Вы в Кабул или оттуда? – поинтересовался он у них.

– Вчера мы выехали из Мазари-Шарифа, – ответил самый коренастый, самый толстый из них.

– Тогда вы не знаете самую важную новость! – воскликнул конюх.

Оба путника в *чапанах* неторопливо повернули лица в его сторону. В раскосых глазах мелькнуло любопытство, смешанное с беспокойством. Но проявлять эти чувства им мешал их более, чем у конюха, солидный возраст и более высокое, чем у него, положение. Тот из них, который уже удостоил его ответом, спросил ровным, словно сонным голосом:

– Что ты, молодой и к тому же неопытный человек, называешь самой важной новостью?

– Я называю самой важной новостью такую новость, с которой никакая другая и сравниться не может, – сказал конюх.

И хотя он буквально сгорал от нетерпения поделиться всем, что ему было известно, он умолк, чтобы еще несколько секунд насладиться властью человека, знающего великую тайну.

Тут оба путника спросили в один голос:

– Что, неужели в нашу провинцию назначен новый губернатор?

Их собеседник в ответ только покачал головой.

– Может, повысили налог на ткачество? – осведомился тот, который был в *чапане* цвета опавших листьев, хозяин ковровой мастерской в провинции Меймене.

– Или на выделку каракуля? – переспросил тот, который был в темно-красном *чапане* и владел отарами тонкорунных овец в степях, окружавших Мазари-Шариф.

– Ну, если бы речь шла только об этом! – ответил конюх.

И, не выдержав, в конце концов он воскликнул, даже не воскликнул, а пропел:

– Слушайте же, слушайте внимательно: могу вам сообщить, что в Кабуле впервые в самое ближайшее время состоится *бузкаши.*

Конюх не спускал с собеседников глаз. И его надежды оправдались. Оба *чапана,* сидевшие до того у невысокой стенки с такими неторопливыми жестами и с таким достоинством в речах, вдруг совершенно потеряли самообладание. Рывком вскочив, они закричали одновременно:

– *Бузкаши* в Кабуле! Ты часом ничего не напутал: в Кабуле будет праздник *бузкаши?*

– Да еще какой, самый блестящий, самый незабываемый – снова не сказал, а буквально пропел конюх.

– Это у тебя, наверное, просто от горного воздуха голова кругом пошла, – закричал тот, что торговал каракулем.

– Да откуда у этих жителей долин возьмутся нужные кони, да и всадники тоже? – спросил, точнее, прокричал торговец коврами.

На что конюх прокричал еще громче:

– Приедут из наших мест.

От удивления оба купца на секунду потеряли дар речи. А когда попытались снова заговорить, было уже поздно. Их голоса потонули в других голосах.

Обрывки беседы, походившей на спор, резкая и почти непристойная перемена в поведении этих седобородых людей заставили всех встрепенуться от радостного удивления. Три чапана оказались в плотном кольце любопытных. И те, кто сидел за чашкой чая поодаль, тоже

побросали свои подносы, чтобы узнать, что же такое случилось. И в соседних чайханах тоже люди повскакивали со своих мест и бежали узнать новости.

В поднявшемся шуме громче всего звучало одно слово *«бузкаши… бузкаши».* Возникнув на одной террасе и переносясь из уст в уста, оно многократно усиленным эхом повторялось в толпе. При этом большинство путников не знали значения слова: они никогда не бывали севернее горных долин Гиндукуша или таких городов, как Кундуз и Баглан. Поэтому они громко требовали, чтобы им разъяснили, о чем идет речь. Объяснение последовало, передаваемое тоже из уст в уста:

«Игра, да, говорят, игра такая есть, там, у них, в степных районах».

Когда суть новости дошла до всех них, стоящих на холодном пронизывающем ветру, многие испытали горькое разочарование. Стоило вставать с теплых насиженных мест, где их окружали любезные соседи, стоило бросать горячий чай, который теперь наверняка уже остыл! Из-за чего? Из-за игры, в которую играют где-то в далеких, никому не ведомых засушливых степях на севере. Пророк велик! Из-за игры! Как будто им не хватает своих собственных игр и в горных селениях, и в зеленых долинах! Люди из Газни и Кабула, из Кандагара и Хазераджата начали перекликаться.

– Эти *бузкаши,* про которые нам здесь уши прожужжали, что, разве стоят они наших поединков с шестами?

– Или что, может, они будут покруче боев баранов?

– Разве они такие же жестокие, как у нас бои собак с волками?

– Такие же ужасные, как смертельные поединки верблюдов из-за самок?

– Как бои перепелов, натасканных на то, чтобы раздирать друг другу горло?

Так горцы выражали свой протест. А трое в *чапанах* и еще несколько присоединившихся к ним северян кричали что есть мочи, пытаясь перекрыть шум:

– Да разве вы можете оценить всю красоту *бузкаши?*

– Для вас что кляча, что благородный рысак – все едино.

– Даже когда вы оказываетесь в седле, со стороны кажется, будто вы продолжаете ехать на ишаке!

Голоса звучали все громче и громче. Реплики становились оскорбительными. Теперь речь шла уже не об игре, спор теперь затрагивал честь племен, честь провинций.

* * *

Хозяин *чайханы* со страхом услышал звон раздавленных, разлетающихся на мелкие кусочки побитых пиал, увидел, как из накренившихся самоваров потекли струйки кипятка. Еще немного, и эти безумцы разнесут все в пух и прах. Хозяин стиснул зубы. Это был массивный мужчина с длинными сильными руками и суровым выражением на плоском лице. Но что он один мог сделать при всей своей силе и решительности? Несмотря на троих своих *бачи*,[2] старшему из которых было только лет пятнадцать!

Он кинулся через толпу на дорогу, чтобы позвать на помощь других чайханщиков и шоферов, своих друзей. И тут увидел того глубокого старика с тощей сумой, которому кузнец помог слезть с последнего грузовика, прибывшего из Кабула.

– Сам Аллах послал его сюда, – воскликнул хозяин *чайханы.*

И вернулся в орущую толпу. Но понял, что ему не удастся докричаться до них. Роста он был небольшого, а из-за того, что очень долго прожил высоко в горах, голос у него сделался сиплым. Что делать?

Тут к нему пробрался младший из помощников, тринадцатилетний *бача,* и спросил:

[2] Молодой слуга. – *Прим. авт.*

– Что, начинать убирать самовары и посуду?

– Подожди, – остановил его хозяин *чайханы.* Он поднял мальчика себе на плечи и приказал:

– Будешь повторять во весь голос, но только во весь голос, все, что я тебе скажу.

Бача приложил ладони рупором ко рту и закричал что было силы:

– Остановитесь! Остановитесь! Слушайте! Слушайте!

Детская голова, возвышающаяся над всеми остальными головами, и громкий мальчишеский голос привлекли к себе внимание. На мгновение крики смолкли. Все лица, даже самые негодующие, повернулись к *бача.* А тот продолжал:

– Зачем так спорить? Я вижу, вижу, как сюда идет тот, кто один, без посторонней помощи, может вас рассудить… Гуарди Гуэдж.

Мальчик помолчал несколько секунд и, набрав в легкие как можно больше воздуха, крикнул изо всех сил:

– Пращур!

В чайхане воцарилась гробовая тишина, и слышен был лишь свист прилетевшего с вершин ветра. И на этот раз тишина возникла отнюдь не от праздного любопытства.

* * *

Должно быть, среди этих людей мало кто встречал в своей жизни старца, мало кто видел его воочию. Но вот имя его слышали все до единого. Из конца в конец земли афганской, из поколения в поколение деды рассказывали внукам о старике и повторяли то, что узнали от него. Ведь не было ни одной деревни, ни одного самого крошечного селения, каким бы отдаленным оно ни было, где бы он не побывал хотя бы один раз. А когда Гуарди Гуэдж посещал какое-либо место, то там его уже больше не забывали.

Бача слез с плеч хозяина. А тот подошел к старику, низко ему поклонился, взял за правую руку и через расступившуюся, словно по мановению волшебной палочки, толпу повел его вглубь террасы. Все с восхищением разглядывали Гуарди Гуэджа.

Сколько лет могло быть этому исхудалому старику с иссохшим, как пергамент, и изрытым морщинами лицом, продвигавшемуся вперед в бесформенной, свисающей широкими складками накидке, опираясь на такого же цвета, как и он, суковатую палку. Этого не знал никто на свете. Откуда он был родом, из какого племени? Ясно было только одно: не из монгольского. Он мог быть родом и из дикого Белуджистана, и из пустынь Систана, и из областей, граничащих с Ираном или с Индией… Он мог быть хазарейцем, пуштуном, таджиком или нуристанцем. Черты иссохшегося лица его были так размыты, так отполированы временем, что невозможно было разглядеть ни признаков расы, ни примет племени. А говорить он мог на любом языке, на любом диалекте, на любом наречии всех провинций. Он не был ни дервишем, ни гуру, ни шаманом. Но, подобно этим посвященным в тайны мудрецам, бродил по путям и дорогам, по тропам и тропинкам просторной афганской земли. Он исходил все долины бурных и шумных горных рек, знал берега Амударьи. Ногам его случалось попирать даже вечные снега Памира, не зря прозванного Крышей мира – человек там ни за что не смог бы выжить без мохнатых яков. А горячий песок пустынь так часто обжигал его босые ступни, что они у него стали черными. Давно ли он ходил вот так? Пожалуй, лишь его стершиеся следы могли бы ответить на этот вопрос. Какая сила вела его? Какая мечта? Мудрость? Фантазия? Вечное беспокойство? Ненасытная жадность до знаний? Он приходил, уходил, вновь появлялся через годы и годы. И везде, где он останавливался, он рассказывал новые чудесные истории. Откуда он черпал все свои знания? Его никогда не видели за книгой. А между тем он, казалось, сохранил в памяти все события многовековой истории Афганистана и имена всех людей, громко прозвучавших в здешних степях, горах и на перевалах. Он говорил о Заратустре, как если бы был его учени-

ком, об Искандере,[3] как если бы следовал за ним от победы к победе, о Балхе, матери всех городов, как если бы был его гражданином, о гекатомбах Чингисхана, как если бы сам был обагрен кровью покоренных народов и похоронен под обломками разрушенных крепостей.

Он рассказывал также и о жизни в наши дни, и тогда образы пастухов и погонщиков верблюдов, чеканщиков по оружию и мастеров ковроткачества, исполнителей на домбре и горшечников из Иссталифа получались у него такими же выпуклыми и яркими, как и легендарные герои и вожди.

Подведя гостя к грубому топчану у стены, хозяин *чайханы* смиренно произнес:

– Нет у меня ни подушек, ни одеял, чтобы уложить и накрыть тебя, о Пращур… Здесь, на Шибаре, мы очень бедно живем.

Гуарди Гуэдж сел на краешек примитивного ложа, поставил палку перед собой и оперся на нее подбородком.

– Не беспокойся, – успокоил он его тихим голосом. – Мне лишь бы прислонить голову.

Тут в тишине раздался огрубевший и в то же время полный неожиданной нежности голос:

– Знаю, знаю. В тебе ведь веса, как в перепелке, не больше.

И все находившиеся поблизости увидели, как грубое лицо кузнеца покраснело, и от смущения даже его голова как-то втянулась в могучие плечи. Все вокруг засмеялись. А хозяин *чайханы* посмотрел на Гуарди Гуэджа:

– Они тут чуть не передрались. А теперь вот повеселели. Они уверены, что ты их вразумишь.

От этих слов утихнувшие было страсти вновь разгорелись.

– Не правда ли, о, ты, знающий все, не правда ли, что *бузкаши* этих крестьян-степняков, игра, о которой мы впервые слышим, ничего не стоит по сравнению с играми наших предков? – кричали одни.

– О, ты, знающий все, не правда ли, что по красоте, мужеству, силе и ловкости участников наш *бузкаши,* если сравнивать его с развлечениями, которыми хвастаются тут эти невежды-горцы, – это все равно, что сокол перед курами?

И люди с обеих сторон замерли в наивной надежде, что он поддержит именно их мнение. Но на их вопросы он ответил вопросом:

– А почему я должен решать за вас, друзья мои? – спросил он.

И поскольку обескураженная толпа молчала, Гуарди Гуэдж продолжал:

– Каждый имеет право и обязан судить сам. Надо только хорошо знать, о чем судишь. Вот так и с *бузкаши.* Хотите, я расскажу, а вы послушаете?

Ответом был общий вздох одобрения и благодарности. Разве не сказал он магическое слово? Он расскажет! Это будет его рассказ!

Ведь все же знали, что по возрасту, по своей памяти, по пройденному пути, по мудрости и умению говорить Великому Пращуру не было равных.

Кузнец пробился поближе к старцу и первым уселся у его ног. Затем и остальные тоже, ряд за рядом, уселись внизу. Лишь те, кого не вместила терраса, остались стоять на дороге.

Перед Гуарди Гуэджем образовался своего рода ковер из головных уборов, представляющий все племена и провинции. И под всеми этими чалмами, тюбетейками, меховыми шапками, каракулевыми шапочками *кулах* на лицах, выдающих самое различное их происхождение, – горцев, жителей долин, степей и пустынь – выражены были общие чувства: ожидание и детское любопытство. Подобно тому, как жаждущий паломник устремляется к источнику влаги, так и все эти люди обратились к старцу, а он всем своим изможденным, лишенным плоти и веса телом аскета ощутил единственное трепетное желание, на какое был еще способен: передать этим трогательно наивным и восхитительно темным людям хоть немного из того, что он

[3] Александр Македонский. – *Прим. авт.*

знал, дабы каждый из тех, кто его слушал, повторил его рассказ другим, и чтобы те, в свою очередь, передали его от отца к сыну, от соседа к соседу, чтобы все растекалось во времени и пространстве подобно тому, как вода течет, стекаясь и растекаясь по бесчисленным крошечным канальчикам и арыкам, чтобы человек приобщался к вечности, которую несправедливые боги хранили только для себя.

Гуарди Гуэдж выпустил из рук свою дорожную палку (а кузнец с почтением ее подхватил), выпрямил спину и шею и заговорил. Голос его был тонок и слаб. Но доносился он очень далеко, подобно тому, как слышится звон колокольчика из надтреснутого хрусталя.

* * *

Гуарди Гуэдж начал так:

– Пришло это с Чингисханом, – сказал он.

И, словно эхо из глубокого колодца, толпа шепотом ответила:

– Чингиз, Чингиз…

Ибо не было на афганской земле такого затерянного селения, где бы даже самые отсталые и невежественные люди, где бы даже дети не знали этого грозного имени и не испытывали бы при этом суеверного страха, несмотря на то, что столько веков пролетело после походов завоевателя.

– Чингиз, Чингиз… – перешептывались путники.

И ветер Шибара уносил этот шепот к вершинам Гиндукуша.

А Гуарди Гуэдж подумал:

«Вот уж поистине руины великолепных городов, обращенные в безжизненные пустыни плодородные поля, истребленные, вплоть до грудных младенцев, народы, оставляют о покорителях более глубокий след в народной памяти, чем самые благородные, самые гармоничные сооружения… Страх – вот самый надежный хранитель славы».

Взгляд Гуарди Гуэджа упал на группу дорожных рабочих в выгоревших бледно-голубых лохмотьях, группой стоявших у края дороги. Они слушали, опершись на лопаты, которыми с утра до вечера набрасывали в рытвины на дороге гравий, пыль от которого горный ветер разносил вокруг. Это были хазарейцы из племен, ютящихся на суровых плоскогорьях и в тесных ущельях Гиндукуша с той стороны, где солнце садится.

– Чингиз, Чингисхан, – тихо перешептывались слушатели Гуарди Гуэджа.

Дорожные рабочие, те молчали.

«Знают ли эти несчастные, – думал старый рассказчик, – что название их народности имеет монгольские корни и означает „сотня“, и что сотня была у Покорителя мира главной цифрой, которую он всегда держал в голове, когда создавал и исчислял непобедимые свои орды?»

Нищие потомки неумолимых всадников, оставленных когда-то здесь своим предводителем, чтобы они властвовали в этих краях вечно, сейчас смотрели на Гуарди Гуэджа, и он читал на плоских их желтых лицах с узкими раскосыми глазами лишь бесконечное тупое терпение.

Гуарди Гуэдж продолжал:

– Монголы жили в седле и умирали в седле. И когда они играли, они могли предаваться этому тоже только верхом на лошадях. Но всем своим играм, будь то скачки, стрельба из лука на полном скаку, охота с собаками или с соколами, предпочитали они *бузкаши.* Воины Чингисхана принесли эту игру во все страны, где побывали их кони. И до сих пор, семь веков спустя, она сохранилась на наших северных равнинах такой же, какой была в те древние времена.

Кузнец, сидевший у ног Гуарди Гуэджа, не вытерпел и на правах старой дружбы, установившейся у него в пути с его спутником, воскликнул:

– Так расскажи же нам, наконец, о Пращур, в чем заключается эта игра!

И вся толпа, приободренная этими словами, стала просить Гуарди Гуэджа: —Да, да, расскажи!

– Прежде всего, закройте глаза, – отвечал старец.

Кузнец, удивленный, заколебался. Гуарди Гуэдж прикрыл ему веки одной из своих сандалий и потребовал от всех:

– И вы тоже, друзья мои!

Когда все глаза перед ним были закрыты, голос старого рассказчика, подобный звону колокольчика из треснувшего хрустального бокала, зазвучал еще громче:

– Приготовьтесь сделать усилие. Усилие над собой. Я хочу, о, люди, никогда не покидавшие склонов и тенистых ущелий гор, я хочу показать вашему умственному взору великие степи Севера.

По интенсивной серьезности лиц с закрытыми глазами Гуарди Гуэдж видел, что они безраздельно отдаются ему.

– Хорошо, – сказал он. – Сейчас вы будете думать о долине. Но о такой долине, какую никто из вас не видел никогда в жизни… О более широкой и длинной долине, чем самая длинная и самая широкая из всех долин, по которым вам когда-либо довелось ездить.

Послышались голоса людей, будто потерявших над собой контроль:

– Более длинная и более широкая, чем долина Газни?

– Чем Джелалабадская долина?

– Чем Кохистан?

Гуарди Гуэдж отвечал:

– В сто раз более широкая и более длинная.

И закричал:

– А теперь, друзья мои, за работу: раздвиньте, опрокиньте все скалы и стены гор… Слева и справа, спереди и сзади… Толкайте… еще толкайте… Дальше… все дальше… Ведь огни удаляются, уменьшаются, не так ли? Исчезают… Падают… Их больше нет.

– И в самом деле, и в самом деле, – шептали люди в толпе… Нет больше ничего!

– Не открывайте глаза, – приказал Гуарди Гуэдж. – А теперь внутренним взором посмотрите на эту долину, бесконечную, бескрайнюю, плоскую, голую, свободную от всяких препятствий, с небом в качестве единственной границы со всех сторон.

– Видим, видим! – кричали люди, словно в экстазе, не открывая глаз.

– И там, – продолжал Гуарди Гуэдж, – до самого края земли раскинулся ковер из трав, и, когда дует ветер, то он доносит оттуда горький запах полыни. Самый быстроногий конь может галопом скакать до тех пор, пока не упадет от усталости, и самая проворная птица может лететь, пока силы не иссякнут в крыльях ее. И все время они будут видеть одну только степь, только всё травы, травы, травы с их полынным духом.

Гуарди Гуэдж тяжко вздохнул и тихим, усталым голосом, похожим на шелест птичьего крыла, проговорил:

– Такова степь.

– Степь, – повторили взволнованными голосами люди.

Громче других воскликнули люди в *чапанах.* И вовсе не из-за гордости за свой край. А потому, что поразились тому, как Гуарди Гуэдж открыл им глаза на красоту их земли, которую они, привыкнув к ней, разучились замечать. А когда они открыли глаза, то поразились, что их окружают и подавляют нависшие над ними каменные глыбы, подобные гигантским и мрачным тюремщикам. И такое же удивление испытали и остальные путники, даже те, которые прожили среди этих гор всю свою жизнь.

Гуарди Гуэдж не дал им времени забыть только что увиденную ими картину. Он сказал:

– Да, такова степь, прародительница *бузкаши.* Во всей вселенной только у нее такое обширное чрево, чтобы вынашивать и вскармливать всех людей и всю свою живность.

– Расскажи им про наших коней! – крикнул конюх.

– Не все они крылатые, словно птицы, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Но богачи на Севере, которых там зовут *ханами* или *баями,* выращивают и дрессируют коней, предназначенных исключительно для особо важных игр. Они, эти кони, прекрасны, как принцы, быстролетны, как стрелы, отважны, как самые лютые волки, умны и послушны, как самые преданные собаки. Им не страшны ни ледяной холод, ни зной, и они могут скакать галопом с утра до вечера без остановки.

– Есть там такие, что стоят сто тысяч афганей! – воскликнул конюх.

– Сто тысяч афганей… – повторили недоверчиво путники (для большинства из них эта сумма превышала весь их жизненный заработок)… – Сто тысяч афганей… не может быть!

– И, тем не менее, это правда, – подтвердил Гуарди Гуэдж. А чтобы оседлать таких коней, нужны *чопендозы* — всадники исключительно высокой выучки.

– Да еще и не всякий может стать *чопендозом,* – крикнул конюх. – Они должны пройти сотни и сотни *бузкаши,* и из тысяч и тысяч участников должен выделяться кто-то один. Но и этого мало. Когда участник становится знаменитым во всех трех провинциях, собираются самые старые, самые строгие *чопендозы.* И кандидат проходит испытания перед ними. И вот только тогда, если они сочтут, что все прошло хорошо, он получит право на гордое звание и на шапку из лисьего или волчьего меха. Тогда какой-нибудь *хан* или *бай* возьмет его к себе на службу. У него не будет других обязанностей, кроме как участвовать в *бузкаши.* И зарабатывать он будет за это около ста тысяч афганей в год.

– И это тоже правда, – снова подтвердил Гуарди Гуэдж.

– Сколько денег… Сколько денег…

Шепот был печальным, как вздох, и болезненным, как жалоба.

– Сколько денег… сколько денег… – шепотом переговаривались в толпе.

– А вот в чем состоит игра, – сказал Гуарди Гуэдж. – В стаде выбирают козла. Забивают его. Потом отрубают голову. Чтобы сделать тушу тяжелее, ее набивают песком и заливают водой. Ну и кладут в небольшую яму, совсем неглубокую, чтобы шерсть была на уровне земли. А недалеко от ямки обводится негашеной известью небольшой круг. Называется этот круг *Халлал,* что на туркменском языке означает Круг справедливости. Справа от круга, где-нибудь в степи, вкапывается высокая мачта. И слева, на таком же расстоянии, – еще одна, такая же. Расстояние может быть разным. Оно может равняться расстоянию, необходимому, чтобы поскакать галопом за час или за три, или за пять часов. Судьи каждого *бузкаши* по своему усмотрению решают, каким должно быть расстояние.

Старый рассказчик окинул взглядом толпу и продолжал:

– Итак… Яма, а в ней туша козла… Неподалеку – круг, обведенный известью. А вдалеке, иногда очень далеко друг от друга – мачты… Всадники собираются возле туши.

– Сколько? – спросил кузнец.

– Когда как, – ответил Гуарди Гуэдж. – Иногда десять, иногда пятьдесят, а иногда и несколько сотен. По сигналу судьи все накидываются на обезглавленную тушу. Кто-то ее выхватывает и мчится прочь. Остальные устремляются за ним в погоню, а он направляется к той мачте, которая находится справа. Туша сначала должна быть доставлена туда, чтобы всадник обогнул мачту, потом проскакал с тушей к левой мачте и, наконец, доставил ее в *Халлал.* Победителем становится тот, чья рука швырнет обезглавленного козла в центр белого круга. Но этому предшествует столько схваток, столько погонь, нападений, скачек и потасовок! Разрешаются любые удары. За несколько часов туша много раз переходит из рук в руки, из седла в седло, огибает обе мачты и устремляется к цели. В конце концов ею завладевает кто-нибудь из участников, выхватывает козла, ускользает от последних противников или опрокидывает их, скачет во всю прыть с тушей в руках, подлетает к белому кругу, потрясает тем, что от нее осталось, и…

– Голос рассказчика потонул в улюлюканье.

В резком, оглушительном улюлюканье, диком, безумном, родившемся в бескрайних ковыльных степях и заполнившем небо и землю пронзительным сумасшествием.

– Халлал! Халлал! – кричал конюх.

– Халлал! Халлал! – отвечали люди в *чапанах*.

А поскольку скалы и ущелья Шибара возвращали эти крики в виде тысячекратно усиленных откликов, горные демоны еще долго-долго повторяли:

– Халлал! Халлал!

Когда они наконец умолкли, наступила удивительная тишина. И тогда Гуарди Гуэдж сказал:

– Такая вот игра, друзья мои, была привезена Чингисханом. Теперь вы знаете, что это такое.

– Благодаря тебе, знающий всё Пращур! – закричала толпа.

Диссонансом в этом хоре похвал прозвучал только один возмущенный и вместе с тем как бы жалующийся голос, голос человека, сидевшего у самых ног Гуарди Гуэджа.

– А какой же мне толк, дедушка, знать правила такой прекрасной игры, если я никогда ее не увижу.

– И то верно… В самом деле… Этот кузнец правильно говорит.

Так ворчали жители горных долин и селений высокогорья, составлявшие почти всю толпу. И они стали вставать один за другим, задумчивые и как бы отрезвевшие, – тем более что водители грузовиков подавали знаки, что пора трогаться в путь. Но Гуарди Гуэдж поднял палку, чтобы задержать их еще ненадолго и сказал:

– Никто из смертных не имеет права сказать «всегда», но никто не может сказать и «никогда». И вот еще одно тому доказательство: впервые с незапамятных времен состязания *бузкаши* будут проведены по ту сторону Гиндукуша, в окрестностях нашей столицы, Кабула.

Шоферы перестали сзывать пассажиров, а те застыли в тех позах, в каких застали их слова Гуарди Гуэджа, стоящими кто на коленях, кто в полусогнутом состоянии.

Они спрашивали:

– Как?

– Почему?

– Когда?

– Потому, – отвечал старик, – что властелин земли афганской Мухаммед Захир-шах повелел, чтобы отныне каждый год в день рождения короля, в месяце мизане,[4] лучшие участники *бузкаши* приезжали бы на самых прекрасных степных скакунах соревноваться в Баграм, рядом со столицей.

– В месяце мизане!

– В ближайший мизан!

– Я поеду смотреть!

– И я поеду!

– Пусть мне даже для этого придется продать мою последнюю овцу!

– Последний мой инструмент!

– Чадру моей жены!

Уже рычали моторы, уже путники взобрались на грузовики, а крики все продолжались и продолжались.

[4] Октябрь. – *Прим. авт.*

* * *

Кузнец сообщил Гуарди Гуэджу:

– Деревня, где женится мой брат, стоит в стороне от дороги. Так что я пойду туда пешком. А ты, дедушка?

– А я продолжу свой путь, – посмотрел на него Гуарди Гуэдж.

– А куда же он лежит? – спросил кузнец.

– В степи, – отвечал Гуарди Гуэдж. – К тем, кто проводит *бузкаши*. Решение короля изменит не одну жизнь.

– Ну и что из этого? – опять спросил кузнец.

– Тому, кто знает много историй из прошлого, доставляет большое удовольствие, когда ему удается увидеть, как рождаются новые истории, – сказал Пращур.

Часть первая
КОРОЛЕВСКИЙ БУЗКАШИ

I
ТУРСУН

Заря еще только едва-едва занималась в этой части прилегающей к русской границе провинции Меймене на севере Афганистана.

Старый Турсун лежал на спине, которая у него была такая широкая, что она занимала всю ширину *чарпая,* деревянного топчана. Он и сам походил на большую деревянную наспех отесанную колоду.

Он уже привык к тому, что по утрам его тело отказывалось сделать малейшее движение, даже самое простое и легкое. Привык к такому ощущению, будто все суставы у него, от ступней до самой шеи, закованы в кандалы, опутаны железными цепями. А кожа его, ороговевшая и словно уже мертвая, не чувствовала ни грубой поверхности, ни веса покрывавшей его ткани.

А потом – неизвестно, как и почему? – постепенно кожа начинала распознавать тепло и швы на мешке, набитом хлопком и служившем матрасом, а под ним – веревочную сетку, натянутую на шершавой деревянной раме. А потом – опять же неизвестно, как и почему? – сустав за суставом, звено за звеном, цепи и кандалы, сковывавшие его, расслаблялись и распадались. Тяжелая, могучая, узловатая, застывшая масса мускулов и костей начинала оживать.

И старый Турсун ждал, ждал, когда тело его соблаговолит начать вновь ему подчиняться. При этом он не испытывал ни нетерпения, ни огорчения. По-настоящему сильный человек должен равнодушно воспринимать невзгоды, с которыми невозможно справиться. Старость, а затем и смерть – вещи неизбежные, не так ли?

Постепенно, как и прежде, каждое утро, но с каждым утром все позднее и позднее, наступил момент, когда старый Турсун почувствовал, что он опять, и на этот раз тоже, владеет всем своим телом. Тогда он медленно положил на края топчана огромные свои мозолистые руки, изборожденные морщинами и напоминающие бугристые корни столетнего дерева, оперся на них и сел. Сидел не долго, ровно столько, сколько нужно, чтобы проверить, как чувствует себя поясница. Боль была обычной по утрам – но с каждым утром все более сильной, все более острой. Турсун тяжело наклонился набок и опустил на глинобитный красноватый пол сперва левую, а потом и правую ногу.

У изголовья *чарпая* стояли две тяжелые грубые трости. Турсун взял их, и их рукоятки исчезли в его массивных ладонях. Прежде чем воспользоваться ими как рычагами, Турсун сделал минутную передышку. Тут надо было подумать о предстоящей, пронзительной и одновременно обжигающей боли в коленках: эта операция становилась с каждым утром все мучительнее. Причем испытание это надо было выдержать беззвучно, без гримасы, не моргнув глазом. Неважно, что Турсун находился в четырех стенах один. Для него важен был один-единственный свидетель: он сам.

Наконец, он оперся на две трости и встал. На нем была длинная рубаха. В комнате, кроме *чарпая,* стоял только низенький стол. Турсун сделал два шага, бросил на только что оставленную постель одну палку, продвинулся вперед еще немного и бросил вторую. Туловище находилось в вертикальном положении, сохраняло равновесие и не нуждалось в подпорках. Он почувствовал, как ровно течет кровь в жилах, согревая тело и размягчая суставы. Оделся. Сначала надел *чапан,* облачивший его всего от шеи и до пят, старый изношенный и потертый настолько, что черные полосы стали уже почти неразличимы на сероватом фоне, таком привычном для

Турсуна, что он казался ему его второй кожей. Полы *чапана* он стянул, как кушаком, скрученным куском ткани. Ноги сунул в бабуши из твердой кожи с заостренными и загнутыми вверх, будто клювы хищных птиц, носками.

Однако самое трудное было впереди: обмотать чалму так, чтобы она выглядела достойной его ранга, его возраста и его репутации. Для этого руки приходилось поднимать высоко вверх и в таком положении работать. За пыткой, которой подвергались поясница и колени, следовала пытка для плеч.

Разумеется, старый Турсун мог избежать всех этих мучений – и он не сомневался в этом, – стоило ему только крикнуть. *Бача,* спавший на полу перед его дверью, тут же прибежал бы и с гордостью одел бы его. Был он почти еще ребенком, но любой – в имении и в окрестностях – любой взрослый и сильный, заслуженный человек, любой счел бы тоже за честь оказать ему эту простую услугу. Помочь такому лицу, как Турсун, значило бы не унизиться, значило бы через этот обыденный жест снискать себе почет. Все это знали, и он сам – в первую очередь.

Но старый Турсун знал также, что право на знаки уважения и на готовность услужить подтверждает подлинную силу и величие лишь в том случае, если человек может без этого обойтись.

Один и тот же *чапан,* верблюд или каракульский баран, преподнесенный богатому господину, является знаком внимания и почета, а подаренный бедняку – становится милостыней, подачкой.

Чем больше Турсун терял силу, тем резче отвергал он всякую помощь. Он не хотел стать попрошайкой. Причем не только из чувства собственного достоинства. Срабатывала и его проницательность. Ведь истинно мудрый человек должен точно знать свои возможности, особенно если они все время уменьшаются!

И каждый день Турсун проверял их истинную меру через испытания, которым он их подвергал, выжимая из них все, что только можно.

Вот почему, несмотря на боль в плечах, в шее и кистях рук, тяжелые, раздувшиеся потрескавшиеся пальцы Турсуна по многу раз завязывали, развязывали и вновь завязывали чалму, пока она не принимала великолепную форму диадемы и гибкость лианы, обвившейся вокруг самой себя.

В комнате не было зеркала. С тех пор как Турсун почувствовал себя зрелым мужчиной, он больше никогда не пользовался этим предметом. Женщинам и детям дозволено сколько угодно любоваться своими гримасами. Мужское же лицо остается как бы испачканным после такого нечестивого раздвоения. Только вода, над которой он склонялся, чтобы попить, была достойна отразить облик мужчины. Вода утоляла жажду и была творением Бога.

Головной убор приобрел, наконец, ту нужную форму и ту изящную волнистость, которые требовались. Турсун медленно опустил руки, и они повисли по бокам туловища. Оставалось сделать последнее движение, чтобы достойно начать день, и этот жест был как бы платой за все муки и освящением всех трудов, благодаря которым он, ценой стольких усилий, привел в подобающий порядок, а затем облачил свое заржавевшее, непослушное тело. Он взял плетку, лежавшую на постели в том месте, где она пролежала всю ночь, рядом с его щекой, и засунул ее за пояс.

Короткая ручка заканчивалась металлическим шарниром, обеспечивавшим хлысту и полную свободу, и резкость удара. А сам хлыст был сделан из плотно сплетенных сыромятных ремней со свинцовыми шариками на каждом конце. Нагайка так давно служила Турсуну в разных скачках, гонках, играх, бесчисленных стычках и раскроила так много всяких морд и физиономий, что буквально насквозь пропиталась потом и кровью, как человеческой, так и звериной, отполировалась и блестела, будто лакированная.

Турсун направился к двери. Походка его была, конечно, тяжелой, но уверенной. Опирался он только на одну палку, причем так, чтобы та выглядела даже не помощницей, а атрибутом величия. А прижатая к халату плеть при каждом движении извивалась, как живая.

Стариком на грани бессилия Турсун был лишь в четырех стенах своего жилища. За порогом же его это был, как всегда, сильный и внушительный Главный Конюший, отвечающий за всех лошадей.

* * *

Дверь перед Турсуном раскрылась словно сама собой, и Рахим, его *бача,* отступил, пятясь, чтобы пропустить хозяина. Худенькое личико мальчугана было еще заспанным, а дырявый *чапан* — весь в пыли, так как спал он прямо на красноватой земле. Но он был уже на ногах, готовый выполнять свои обязанности, и держал в руках глиняный кувшин с водой для омовения.

Старому Турсуну стоило лишь сказать, и он имел бы все многочисленные удобства и даже роскошь, какими пользовались другие важные люди в имении: управляющий, главный садовник, агроном. Они находились на службе у самого зажиточного в провинции *бая,* и тот демонстрировал по отношению к ним щедрость, соответствующую его богатству. Турсун был среди них старшим и по возрасту, и по сроку службы, да и распоряжался он самым благородным из всех достояний имения: лошадьми.

Но разве чистота воды зависит от стоимости сосуда, в который она заключена? Так что зачем загружать комнату душными толстыми коврами, обоями и шпалерами, пыльными подушками, коль скоро всем видам сидений он всегда предпочитал седло?

Турсун посмотрел на слугу. Шея Рахима и кувшин в его руках были наклонены под одним углом, и было в этой позе нечто благородное и нежное. Турсун опять на мгновение приостановил свои движения, но теперь уже не из-за своей слабости, а из желания полюбоваться этой гармонией. Готовая политься вниз вода в кувшине трепетала у самого горлышка, и он подумал:

«Рахим держит грубый кувшин, словно это драгоценный сосуд, сделанный кем-нибудь из самаркандских мастеров, или ваза тончайшего персидского фаянса. В отличие от многих взрослых, для этого подростка ценен не столько материал, из которого изготовлен предмет, сколько его назначение…»

И еще Турсун подумал, что такой же расторопности, точности движений и покорности можно было бы добиться от любого слуги с помощью плетки, – и Рахим испытал это на себе, как и многие до него. Но вот такого слияния тела и души не добьешься никаким наказанием, даже самым тяжелым.

Турсун протянул к кувшину свои огромные старые ладони. На них полилась вода, еще холодная от ночной свежести. Турсун смочил ею щеки, покрытые короткой седой бородой, жесткой, как кабанья щетина, а затем вытер лицо краем своего длинного кушака.

Веки его остались еще на несколько мгновений прикрытыми. И эти несколько мгновений образ хозяина целиком принадлежал Рахиму и его изумленному вниманию. В том мире, в котором жил *бача,* никто не мог сравниться с Турсуном. Ни у кого не было такого внушительного торса, таких широких ладоней, такого величественного чела. Ни у кого другого плоть не несла на себе столько отметин славы, как у него: перешибленный нос, сломанная надбровная дуга, перемежающаяся с морщинами, рубцы и шрамы, разбитые кисти рук и вывихнутые колени. Каждая рана была свидетельницей боя, гонки, победы кентавра, о которых из уст в уста передавали легенды пастухи, конюхи, садовники и мастеровые. Для ребенка сказки не имеют возраста. В глазах Рахима старость Турсуна ничего не значила. Герой, кумир живут вне времени.

Когда Турсун открыл свои раскосые глаза, они выражали неколебимую энергию и вызов. У него было ощущение, что годы не властны над ним, что колени его по-прежнему способны сломать ребра чересчур ретивого коня, что рука его по-прежнему в состоянии на полном скаку вырвать у стаи разъяренных всадников тушу козла, этот самый ценный трофей в глазах всех участников игр, да и вообще всех жителей степного края.

«Ну вот, немного свежей воды, и все в порядке», – подумал Турсун.

На самом же деле – но ни тот, ни другой об этом не догадывались – такова была способность наивных глаз, которыми *бача* смотрел на хозяина и в которых Турсун, словно в волшебном зеркале, увидел свою нерастраченную и почти бессмертную силу.

* * *

Когда они вышли из дома, краешек солнца на востоке уже выглянул из-за горизонта. Свет, не встречавший на плоской земле никаких препятствий, ровной волной разливался по степи. Турсун и *бача* повернулись в ту сторону, где за горами, долинами и пустынями находилась Мекка. Был час первой молитвы, когда чистота утренней зари становится залогом удачного дня. Рахим легко опустился на колени и коснулся головой земли. Принять такую же позу Турсуну стоило бы много времени и неимоверных усилий. Старик остался стоять и лишь склонил, насколько мог, голову в тюрбане, опершись обеими руками на посох.

Но величие и мощь плеч, шеи и головы Турсуна, согнутых невидимой силой, были таковы, что, по сравнению с этим простым поклоном, преисполненным веры и смирения, телодвижения распростертого юноши выглядели детской игрой.

Правда, для Рахима главное было не столько молиться, сколько молиться вместе с Турсуном у его ног, угадывая в высоте над собой склонившуюся, будто могучее древо, массу и габариты, повторять ритуальные слова, нараспев произнесенные его тихим низким голосом, разделять святую славу этого утра с самым прославленным *чопендозом* во всем степном краю.

Конечно, другие слуги, работавшие на кухне, в комнатах, в саду, на конюшнях или при стадах, имели кое-какие привилегии по сравнению с Рахимом, – им перепадало больше еды, да и свободы у них было побольше. Но зато с какой нескрываемой завистью смотрели они на Рахима, когда он передавал им – или придумывал – рассказы Турсуна.

Старик постепенно вывел из состояния неподвижности суставы, поднял голову, выпрямил шею, расправил плечи. Рахим мгновенно вскочил на ноги с криком:

– Этот день будет хорошим.

И на его худом лице с приплюснутым носом и сверкающими, как ягоды граната, глазами было написано:

«Хорошим день будет потому, что мне выпало счастье начать его с тобой, о великий Турсун».

Старик медленно проговорил:

– Время года такое.

Жаркая пора миновала. В степи воцарилась сухая, пронизанная нежарким светом осень.

Опираясь на посох, с величественно вздымающейся вверх чалмой, Турсун стоял, щиколотками ощущая приятную свежесть росистой травы, подставив спину первым лучам солнца и жадно вдыхая расширяющимися ноздрями и всей своей широкой грудью чистый воздух, еще не запыленный ни южным ветром из пустынь, ни проходящими мимо стадами, ни быстро скачущими всадниками.

Вокруг него простирались земли имения – пастбища, огороды, цветники и сады, орошаемые благословенной, журчащей в арыках водой. Дальше простирались во все стороны зеленые рощи.

Однако раскосые монгольские глаза Турсуна, глубоко запрятанные в глазницы и прикрытые мохнатыми бровями, видели, вспоминали и дорисовывали за этой листвой бескрайнюю равнину, по которой он так много скакал.

Меймене, Мазари-Шариф, Каттаган.

Первая из этих провинций, родная провинция Турсуна, начиналась у иранской границы, а последняя упиралась в отроги Памира, и жители каждой из них хвалились, что у них – самый лучший каракуль, самые красивые ковры, самые прекрасные скакуны. Все эти люди были одной крови. Их предки пришли в одних и тех же ордах завоевателей из нагорий Центральной Азии.

Они говорили на одном и том же языке. Дети их учились ездить верхом тогда же, когда учились ходить.

Меймене, Мазари-Шариф, Каттаган.

Эта земля с ее невысокими рыжими холмами, где редкие немноговодные реки испокон веков определяли, где быть земледелию и где быть поселениям, являлась единственной родиной Турсуна.

Конечно, на юге, если по перевалам, соседствующим с небом, преодолеть эту колоссальную преграду Гиндукуш, то там тоже продолжался Афганистан. Но Турсун, сын степей, знал и признавал только степь. За Гиндукушем, как ему говорили, начинается странный, чуждый мир высоких плоскогорий и головокружительных вершин. Люди там ходят не в *чапанах,* носят длинные волосы и говорят на другом языке. Оттуда приезжали губернаторы провинций, чиновники, офицеры, писаря – люди, выглядевшие в седле, как какие-нибудь деревянные колы или набитые чем-то мешки.

И вот там-то, через несколько часов, Уроз…

Турсун сжал узловатыми своими руками ручку трости. Он запретил себе думать о предстоящей поездке своего сына Уроза в Кабул.

До сей минуты это удавалось ему без труда. Преодоление сопротивления собственных конечностей и одежды, омовение и молитва заполняли все его мгновения. Но вот первая передышка, а с ней…

– Не в ту сторону посмотрел, – подумалось Турсуну.

И он резким движением повернулся на север, да так неожиданно, что худенькое подвижное лицо отрока-слуги вытянулось от удивления. Турсуну сразу стало легче. В ту сторону родная степь простиралась без края, до бесконечности.

Недалеко, в двух часах быстрой езды на лошади, текла степная река Амударья. За ней начиналась русская земля. Но по обе стороны реки была одинаковая равнина, в воздухе висела одинаковая пыль летом и лежал одинаковый снег зимой, а весной расцветали одни и те же цветы, колыхались одинаковые высокие травы. И у людей по обе стороны реки были одинакового шафранового цвета лица, раскосые глаза, и все они считали, что не существует на земле большей ценности, чем дар божий, каковым является прекрасный конь.

Все это Турсун видел сам, когда в молодости сопровождал отца в поездке за Амударью. В те времена там правили эмир бухарский и хан хивинский, подчинявшиеся, правда, великому северному царю. В ту пору доступ туда для людей одной веры и одной крови был свободен…

А какие там мечети, какие базары в Ташкенте и Самарканде!

Какие ослепительные ткани, сверкающие шелка, чеканное серебро, драгоценное оружие!

Толстые, потрескавшиеся губы Турсуна, невольно растянувшись в полуулыбку, повторяли выученные тогда слова. А ведь с тех пор прошло тридцать лет, да еще случилась какая-то удивительная революция, которая все перевернула на том берегу реки и наглухо перекрыла мосты и броды.

– *Хлеб… Земля… Вода… Лошадь…* – тихо повторял старец русские слова.

Рахим угадывал смысл этих слогов, распознавая их рисунок на губах Турсуна, и мысленно переводил их.

Ведь Турсун часто рассказывал слуге свои воспоминания, – так они получались более яркими. И эти рассказы *бача* предпочитал остальным. В них говорилось о стране, такой близкой и вместе с тем чудесной, доступ к которой по обе стороны Амударьи надежно охраняли грозные солдаты. И он часто старался заставить Турсуна вернуться к тем воспоминаниям, задавая ему вроде бы наивные, но подсказанные лукавой надеждой вопросы.

В то утро *бача* мог не прибегать к подобной хитрости. Турсун сам заговорил, да еще как заговорил. Ему тоже хотелось отвлечься от настоящего.

В который уже раз, пока солнце подымалось над степью, Турсун рассказывал – прежде всего для самого себя – рассказывал, глядя поверх головы ребенка, худощавого, тщедушного, болезненного отрока, закрывшего глаза, чтобы лучше запоминать то, что рассказывал старец: про киргизские караваны, про татарские базары, про воинственные танцы, про ханские дворцы и сады, про самые прекрасные в сердце Азии, самые богатые оазисы.

Однако когда Турсун умолк, а сегодняшний рассказ был длиннее обычного, у маленького слуги возникло ощущение, будто он что-то недополучил. Турсун поговорил обо всем, кроме главного. Рахим выдержал паузу из вежливости, а также, чтобы убедиться, что Турсун действительно закончил свой рассказ.

Только после этого он своим тоненьким, самым что ни на есть невинным голоском, спросил:

– А *бузкаши,* о великий Турсун?

Старик только сделал движение вперед подбородком и сдвинул брови. Этого оказалось достаточным, чтобы лицо его приняло выражение просто неумолимой жестокости. Рахим отлично знал это выражение. Он с ужасом подумал: «В чем я провинился? Ведь о *бузкаши* он любит говорить больше всего на свете».

И в голове мальчика пронеслись образы, навеянные прежними рассказами Турсуна. А тот-то не просто видел эти картины. Ведь жеребец, который рассекал плотное скопление коней и людей, сбившихся в единую массу, который опрокидывал тех и других, кусал, расталкивал и топтал, был его конем. А всадник на нем, скакавший галопом на одном стремени, всем телом откинувшийся набок, чтобы подлететь к другому такому же демону в седле и вырвать на скаку тушу козла, не кто иной, как он сам. И победитель, швырявший трофей в круг, тоже был он сам, великий, самый великий из *чопендозов.*

Но это воспоминание отнюдь не успокаивало Турсуна, а, напротив, удваивало его ярость. Ему было ненавистно личико, с наивным страхом спрашивавшее: «Почему? О, почему?» Ответа он не мог дать никому.

Он поднял свой чудовищный кулак, чтобы уничтожить вопрос прямо на лице *бачи.*

Рахим не отшатнулся, не моргнул даже глазом. В великом Турсуне он читал все, в том числе и несправедливость.

И старик прочел это в глазах отрока. Он уронил занесенную было руку, узловатую, похожу на булаву длань, и резко, с места в карьер, зашагал прочь своей тяжелой походкой. После нескольких шагов он, не оборачиваясь и не останавливаясь, приказал:

– Иди за мной!

II
БЕШЕНЫЙ КОНЬ

Они прошли через все двенадцать загонов, разделенных невысокими глинобитными стенками с соединяющими их узкими проходами. Все двенадцать были одинаковыми четырехугольниками с голой, потрескавшейся от жары землей под ногами, горячей даже сейчас, ранним утром, когда солнце еще не добралось до зенита. В каждом углу загона стояла оседланная лошадь, только что выведенная из конюшни и привязанная на коротком поводке к столбику.

Все они были ослепительно красивы, просто невероятно красивы. Их длинные, густые гривы были тщательно расчесаны, и их шерсть сверкала, как шелковая. Могучие высокие холки, широкие выпуклые груди, мускулистые, красиво изогнутые шеи выдавали редкую силу, выносливость и пылкое упорство.

Всего в этих загонах стояло сорок восемь скакунов – вороных, гнедых, рыжих, белых – по четыре в каждом.

Нетрудно было понять, что Осман-бай, которому принадлежало поместье, был богатейшим в провинции Меймене человеком, коль скоро он мог только ради славы своей собрать, вырастить и содержать столько лошадей, да еще таких прекрасных. Единственное их предназначение состояло в том, чтобы участвовать в *бузкаши,* из которых многие возвращались ранеными и искалеченными.

Истинным и всеми признанным хозяином этих ханских конюшен был Турсун. И когда кони Осман-бая одерживали победы, честь воздавалась прежде всего Главному Конюшему.

И это было справедливо: богач давал лишь деньги. А всем остальным занимался Турсун. Он ведал покупкой жеребят. Он же принимал решение о случках. Следил за кормом, за подстилкой. Руководил обучением, тренировками, дрессировкой. Решал, когда допускать коня к первой игре. Ездил с ними, исправлял недостатки, развивал таланты. Лечил раны и переломы. А если благородного коня в схватке безнадежно калечили, он сам, своей рукой, с должным уважением убивал его.

Турсун знал сильные и слабые стороны не только всех лошадей Осман-бая, но и всех всадников, нанимаемых им для игр. Все сопоставляя, взвешивая способности тех и других, он назначал, он соединял всадников и коней так, чтобы сочетание их было ближе всего к совершенству.

Переходя из загона в загон, Турсун совершил, как он делал это каждый день, доскональный осмотр одного за другим всех сорока восьми коней. Перед каждым подолгу останавливался. Конюхи и слуги участвовали в осмотре, соблюдая почтительное, как бы даже суеверное, молчание. Они понимали значимость этого обхода.

В конце весны, из-за усталости коней и наступающего зноя, сезон *бузкаши* заканчивался, чтобы затем возобновиться по осени. За это время Турсуну надо было исправить сухожилия, мышцы, кровь и даже костный мозг животных, измученных и побитых за месяцы изнурительных боев.

Сначала лошадям давали полный покой. Их не выводили из просторных, проветриваемых и светлых конюшен, пол в которых для мягкости ежедневно посыпался свежей смесью песка с сухим навозом. Ночью коней кормили ячменем и овсом. А днем им давали особую смесь из сырых яиц и кусочков сливочного масла.

Они быстро восстанавливали силы, но в то же время тучнели, становились слишком тяжелыми. Тогда их подвергали испытанию под названием *кантор.* Коней седлали, взнуздывали и заставляли стоять летом по нескольку недель, с рассвета до заката, привязанными по углам открытых загонов, где от жары и от света воздух накалялся, как на пожаре. Солнечные лучи сжигали жир, пропитывали зноем мускулы и нервы, приучали к терпению, к страданиям.

Была середина осени. В то утро Турсуну предстояло принять решение.

Пока он переходил из загона в загон, за ним образовался хвост по крайней мере из десятка человек. Одеты они были, как и прислуга конюшен, в видавшие виды, выцветшие на солнце *чапаны* из дешевой ткани, обуты в старые стоптанные башмаки из грубой кожи, но за поясом у каждого торчала, как у Турсуна, нагайка, сплетенная из коротких твердых ремешков, и головными уборами им служили не грязные, бесформенные тряпки, как у других, а надвинутые едва ли не на самые брови круглые шапки, верх у которых был из каракуля, а края – из лисьего или волчьего меха.

Рахим смотрел, не отрываясь, на эти шапки, пахнущие диким зверем, подчеркивавшие грубые черты скуластых лиц узбеков и туркменов, узкий разрез их глаз. Право носить такие шапки имели только *чопендозы,* получившие от строгих судей этот титул за мастерство в *бузкаши.*

– Ты знаешь, как их зовут? – спросил Рахим у конюшенного слуги, оказавшегося рядом.

– Как же не знать? – отвечал тот с гордостью. – Я всегда вижу их, когда они приходят за лошадью для тренировки и приводят ее обратно. Вот этого зовут Ялвач… а этого Бури…

– Ялвач… Бури… – повторил Рахим дрожащим от волнения голосом.

Как и все мальчишки его возраста, он видел уже много *бузкаши.* Но то были деревенские развлечения любителей, скакавших на первых попавшихся лошадях. Тогда как *чопендозы* участвовали в играх высокого класса, соревнуясь между собой или защищая честь своей провинции.

Зрители, побывавшие на таких памятных встречах, по возвращении домой только и говорили об их славных подвигах. Их соседи пересказывали затем их рассказы другим, непременно добавляя что-нибудь от себя. Передаваемые из уст в уста на базарах и в *чайханах,* на дорогах и на узких тропах рассказы разлетались по округе, превращались в легенды. До самых отдаленных юрт долетала слава выдающихся наездников.

Так что и Рахим знал их имена, как знали их все слуги в имении, подпаски и поварята, мойщики посуды и ученики столяров, подмастерья-кузнецы и помощники садовников. Но эти имена принадлежали недосягаемым существам. И вдруг…

– Это вот Менгу… – говорил конюшенный слуга. – А вот это Музук…

– Менгу… Музук! – повторял *бача.*

И при каждом его вздохе жалкого маленького уборщика навоза все больше и больше распирало от гордости. Ведь он, как и они, служил на конюшне Осман-бая.

– Вот видишь, *бача,* – сказал слуга в заключение, – у нас и кони самые красивые, и чопендозы самые лучшие.

Рахим затянул потуже невероятно грязную тряпку, которой был подпоясан его драный *чапан,* вытер нос рукавом и ответил:

– Зато это *мы* их отбираем.

И побежал догонять Турсуна, переходившего уже в следующий загон.

Это был последний из двенадцати загонов, отведенных для *кантара.* Турсун остановился посередине и подал знак. Его окружили *чопендозы.*

Рахим встал поближе к ним с горлом, пересохшим от волнения. Он просто не верил своему счастью. Раньше его никогда не пускали в эти загоны. И вот он прошел их все, а теперь прямо перед ним Турсун делал самое важное из всех своих дел. *Бача* смотрел, не смея мигнуть: боялся, что вот сейчас мигнет и все это зрелище исчезнет, как сон…

В центре загона величественно возвышался тюрбан Турсуна. Вокруг – меховые шапки *чопендозов.* За ними – служители конюшен. По углам загона замерли, словно окаменелые, в струящемся по ним пламени уже высоко поднявшегося солнца великолепные могучие кони. А за невысокими стенами до самого горизонта тянулись рощицы, округлые холмы, пастбища.

Рахим вспомнил о своем отце, бедном пастухе. Где-то там, далеко, пас он с овчаркой, бегающей поблизости, и дудочкой в руках отары овец Осман-бая. «Если бы он мог сейчас меня видеть рядом с такими прославленными людьми!» – подумалось Рахиму.

До чего же они были великолепны, эти *чопендозы!* Все! И молодые, и седобородые. Стройные, кость да нервы, с лицами, контурами своими напоминающими хищных соколов, натасканных на охоту, или же с массивными торсами, с тяжелыми челюстями, похожие на огромных псов, что бродят с караванами кочевников. В глазах *бача* не имели значения ни возраст, ни черты их лиц, ни фигуры всадников. Главное, что возвышало их над всеми остальными смертными, были полученные ими шрамы и рубцы. Важны были также, даже у самых поджарых, внушительность кулака и запястья, созданных затем, чтобы вырывать у противника, а потом удерживать до конца *бузкаши* тушу козла, ставку в игре. Главное же в их внешности, в их взгляде, в походке была небрежная и горделивая уверенность в своем превосходстве над другими людьми. Их *чапаны* могли быть протертыми и грязными, и всего-то добра у них могло быть хижина или юрта да несколько коз на клочке скудной земли, а, тем не менее, выглядели они в своих меховых шапках более гордыми, более свободными и более богатыми, чем считающиеся весьма и весьма зажиточными местные *ханы* и *баи.*

Опершись на свою палку, молча стоял Турсун. И люди в шапках, опушенных шкурками диких зверей, ждали, не шевелясь. Взгляд Турсуна останавливался то на одном, то на другом, как бы взвешивая каждого из них в последний раз. Казалось, он хотел проникнуть им под кожу, к глубинным тканям, добраться до самой сути, до скрытых пружин, до секретов их силы и решительности, ловкости и храбрости.

Наконец, он назвал имена пятерых наездников и после каждого – кличку лошади. Затем сказал:

– Вот они поедут в Кабул, в столицу.

У Рахима мурашки пробежали по спине. Значит, правда… значит, не напрасно говорили в конюшнях и на кухнях, в кузницах и в мастерских шорников…

Бузкаши там… самый большой… первый… в Кабуле… за Гиндукушем, за высоченными горами, заслоняющими на юге весь горизонт, в Кабуле, в большом городе. Городе короля. *Чопендозы,* названные Турсуном, подошли к нему поближе.

«А что будут делать другие?» – мысленно спросил себя *бача.*

Он с ужасом, со сладким замиранием сердца ожидал гвалта хриплых и грубых голосов, гневных криков, громких возражений, обещаний божественной мести, проклятий и протестов против несправедливого и возмутительного приговора – всего того, что обычно сопровождало вкупе с бурной жестикуляцией решения такого рода. Горячая кровь степняков требовала подобной отдушины для гнева, даже у самых обездоленных, даже когда они имели дело с *баем,* с *ханом* или с судьей. Ведь от разочарованного *чопендоза,* оскорбленного в лучших своих надеждах, можно было ожидать всего.

Но ничего не произошло. Всадники, отстраненные от великолепного *бузкаши,* смотрели в разные стороны, кто на облака, проплывавшие в бездонном небе, кто на трещины в глинобитных стенках, кто на коней, неподвижно стоявших по углам загона. Они даже не смотрели на своих собратьев, обступивших Турсуна.

«Вот это да… – подумал Рахим. – От него они согласны стерпеть все».

Когда Турсун закончил давать указания, Ялвач, самый пожилой из *чопендозов,* с профилем старой хищной птицы, спросил:

– Мы не видели Уроза, сына твоего… Разве он не поедет в Кабул?

– Поедет, – ответил Турсун.

– Но на каком коне? – спросил Ялвач. – Ты же раздал нам самых лучших.

Широкая ладонь Турсуна легла на плечо *чопендоза,* и он заметил ему ворчливо:

– Борода твоя седа, Ялвач, а ты еще не усвоил, что в дела между отцом и сыном никто не должен вмешиваться?

И толкнул его так, что отнюдь не слабый в битвах и играх Ялвач пошатнулся.

– Ну, пошли, – повернулся Турсун к Рахиму.

* * *

Они прошли через сады, огороды, виноградники, бахчи и вышли на целинную часть имения. И не останавливаясь, продолжали путь дальше. Турсун шел вперед твердыми большими шагами. Старость потеряла свою власть над ним. Благотворными маслами вливались лучи солнца в его кости.

Голая степь сменилась кустарниками. Турсун и следовавший за ним *бача* долго шли по тропинке через колючие кусты ежевики, потом обогнули заросший кустарником холм. За холмом увидели рощу, имевшую форму почти идеального круга. Деревья там росли, прижавшись так плотно друг к другу, а листва их была такой густой, что, казалось, будто пройти среди них совершенно невозможно. Турсун раздвинул палкой две ветви, и за ними обнаружилась дорожка.

Когда Рахим вышел из плотного кольца зелени, он оказался на краю широкой и тоже круглой поляны. Посередине ее был пруд с каменной скамьей возле него, а у скамьи стоял привязанный к ней конь. *Бача* сразу впился в него глазами. Это был гнедой жеребец с вишневым отливом, с длинной гривой и такой высокий в холке, с такой могучей грудью, такими мускулистыми и легкими ногами, что по силе и красоте он намного превосходил любого, даже самого драгоценного из коней Осман-бая.

«Откуда явился такой красавец? – подумал Рахим. – Не иначе как с небес, где на нем скакал сам Пророк».

Бача возвел глаза к небу, но не нашел в сияющей бездонной синеве никакого ответа. Рахим опустил взгляд на землю. Турсун направился к большой юрте на опушке рощи по ту сторону пруда.

Не успел он подойти к ней, как из юрты вышел мужчина, очень низко поклонился и воскликнул:

– Добро пожаловать, хозяин!

– Мир тебе, Мокки, – приветствовал его Турсун. Мужчина выпрямился. Это был юноша, почти подросток, но такой высокий, что чалма Турсуна доходила ему лишь до подбородка. У него было очень плоское лицо, высокие скулы, широкий рот. Поношенный *чапан,* слишком короткий для него, касался середины мускулистых икр, а из кургузых рукавов высовывались могучие, как у Турсуна, запястья.

Ясный, открытый взгляд Мокки встретился с глазами Рахима. Он улыбнулся мальчику безо всякой причины, просто потому, что улыбаться приятно.

Турсун вернулся, обошел пруд и остановился перед скакуном. Мокки и Рахим тоже приблизились к нему.

Турсун вернулся, обошел пруд и остановился перед скакуном. Мокки и Рахим тоже приблизились к нему. Он жестом велел им отойти и остался один. Он стоял перед жеребцом, опершись обеими руками на палку, неподвижный, как истукан.

Конь почувствовал это внимание, отреагировал на него. Он продолжал, как его научили, стоять неподвижно под солнцем, словно статуя, но под гладкой его шерстью дрогнул сначала один мускул, потом другой, и еще один, и еще, и еще… Грудь его расширилась, глаза загорелись. А ноздри раздулись, как у хищника.

На круглой поляне, скрытой от мира густой рощей, стояла полная тишина. Сверкала вода в пруду.

– Думаю, конь находится в хорошей форме, – произнес, наконец, Турсун как бы про себя.

Мокки в два прыжка очутился возле него.

– В хорошей форме! – воскликнул юноша. – О, хозяин, этого мало сказать! Приделай ему крылья, так он и тогда не полетит быстрее, чем скачет сейчас. Заставь его биться с десятью дикими жеребцами, и он затопчет их всех. Прикажи ему что угодно, и он поймет, он выполнит все лучше любого слуги, даже самого умного, самого верного… Этот конь, это… это…

Мокки громко щелкнул языком, как будто отведал вкуснейшего яства. И, удивившись своему красноречию и щелчку языком, он засмеялся, как мог смеяться он один, долго-долго, широко раскрыв рот и расправив грудь. Губы его растянулись до ушей, зубы сверкали белизной. И было в этом радостном хохоте столько здоровья и невинного самозабвения, что на лице Турсуна, не привыкшего улыбаться, отразилось что-то похожее на веселость.

– Ты хороший *саис*,[5] Мокки, – произнес он почти нежным голосом.

Потом резким тоном спросил:

– Кто последним садился на коня?

– Вчера вечером твой сын, Уроз… а сегодня утром я, – ответил Мокки.

– Ну и как? – поинтересовался Турсун.

– Мечта, – был ответ Мокки.

Произнес он это слово вполголоса, полузакрыв глаза, словно ему все еще дул в лицо ветер от резвого галопа. Взгляд Турсуна перешел от его лица, будто вдруг повзрослевшего, на его мощные руки и широкие, сильные запястья.

– Из тебя выйдет хороший *чопендоз,* – подвел итог своему осмотру Турсун.

Мокки опять рассмеялся, как только он один умел смеяться, и воскликнул:

– На этом коне любой сможет стать чопендозом.

Второго такого никогда не будет.

– Довольно болтать попусту, – проворчал Турсун.

Веселья на лице Мокки тут же как не бывало.

Ему показалось сразу, что он слишком шумно себя ведет, слишком много занимает места. Он застеснялся своего роста, своего смеха.

– Пойду еще почищу седло, – сослался он.

Долговязый *саис* исчез в юрте, согнув спину и вобрав голову в плечи, чтобы казаться ниже ростом.

Турсун сел на каменную скамью. А над ним стоял гнедой с красиво изогнутой шеей конь.

«Нет, – размышлял старый *чопендоз,* – такого коня никогда больше не будет. Потому что не будет Турсуна, чтобы сотворить такого же. Чтобы подобрать родителей. Чтобы следить за кормлением жеребенка в первые три года, когда тот свободен от всяких забот. Седлать, взнуздывать и ездить на нем три следующих года. А потом еще три года обучать шаг за шагом, тренировать мускул за мускулом в упражнениях, приучать к огромным нагрузкам и вольтижировке».

Ведь конь, предназначенный для *бузкаши,* должен обладать самыми редкими и самыми противоречащими друг другу качествами: буйным нравом и терпеливостью, бешеной скоростью и упорством вьючного животного, смелостью льва и сноровкой дрессированной собаки. Иначе разве сможет конь от малейшего движения хозяйского колена, уздечки или шпор, вдруг остановиться посреди безумного галопа, перейти от погони к преследованию, то избегать всякого столкновения, то устремляться в гущу схватки, увертываться, чтобы тут же броситься в атаку. И вот ни один из этих удивительных коней не мог сравниться с жеребцом, чье горячее дыхание сейчас ласкало морщинистые щеки Турсуна. Он превосходил всех своих соперников, настолько же, насколько старый *чопендоз* превосходил иных замечательных всадников.

[5] Конюх. – *Прим. авт.*

В настоящих испытаниях конь еще не участвовал, ему шел лишь десятый год, еще не наступил зрелый возраст. Но в упражнениях и играх он проявил качества, превосходящие все требования. Казалось, Турсун каким-то загадочным образом передал ему свою собственную необузданную волю, свою расчетливую смелость и свое умение.

В памяти старого *чопендоза* промелькнули все этапы, заботы, тревоги и радости, испытанные за последние девять лет. И после каждого такого воспоминания он повторял про себя – то ли с гордостью, то ли с грустью? – «Нет, такого больше не будет никогда, не будет никогда».

Чей-то вздох прервал его раздумья. За спиной стоял Рахим.

Любопытство одолело мальчика: эта круглая поляна, изолированная от остального мира… а посредине – старик и конь, такие же неподвижные, как та скамья, на которой сидел Турсун, да еще легенда, которую прислуга передавала порой шепотом из уст в уста.

– Эта лошадь и есть тот самый Джехол… Тот самый Бешеный конь? – спросил Рахим.

И не успел сказать, как ладони его инстинктивно потянулись к лицу, чтобы защититься от удара, который вот-вот непременно должен был последовать, который должен был наказать его за такую нескромность.

Но Турсун, казалось, не слышал вопроса. *Бача* поклялся себе, что больше не скажет ни слова, но тут же спросил:

– Почему люди прозвали его так?

– Потому что этот конь умнее, чем они могут себе представить, – сказал Турсун, не пошевельнувшись.

Рахим вздохнул. Голова у него шла кругом. Невероятно, но старый *чопендоз* ему ответил. И он тотчас спросил:

– И это твой конь, да, твой собственный?

И вновь Турсун ответил. Может быть, сам того не осознавая, он привел маленького слугу сюда только затем, чтобы высказать вслух одолевавшие его мысли. Ибо только доверие, преданность и наивность подростка могли подтолкнуть гордого старика передать ему груз своих воспоминаний. Это не было исповедью Турсуна своему слуге. Это было не в его привычках.

Не отрывая глаз от красавца-жеребца, Турсун поведал ему:

– У меня всегда был конь, мой собственный конь. Как и у моего отца, и у отца моего отца, и у отца того отца. Все они были превосходными наездниками. Никто из них не был богат, потому что любому богатству они предпочитали хорошего коня для *бузкаши.* Ты ведь знаешь, что такие лошади очень дорого стоят, и что во время игр их не жалеют. Я поступил так, как мой отец и все его предки. Я воспользовался их знаниями, а кроме того мне везло. Первая лошадь мне досталась, когда в двадцать лет я выиграл у самых лучших *чопендозов.* Был тот жеребец из Бактрии, из края издревле знаменитого своими скакунами. Звали его Джехол, и всех моих коней после него люди по своей глупости стали звать так же.

Турсун опять взял свою палку и, держа ее обеими руками, оперся на нее подбородком.

– Потом у меня было еще пять коней, – продолжал он. – И каждый был прекраснее своего отца, потому что я научился лучше подбирать кобылиц, да и опыта у меня с возрастом прибавилось в дрессировке. И вот – самый прекрасный из моих коней, последний из Джехолов…

Турсун умолк. Однако он понимал, что рассказал все это лишь потому, что его не покидала одна мысль: «Да, это последний Бешеный конь. Но я-то, я-то ведь уже не могу участвовать в его первом *бузкаши*… Да еще каком *бузкаши!»*

Как хотелось Турсуну высказать эту мысль вслух, как ему было это необходимо! Но он не мог решиться. Гордость не позволяла старику изливать свою печаль даже отроку с чистым сердцем.

Турсун встал с каменной скамьи. Он сделал это без труда. Несмотря на то, что, как показалось ему, груз на плечах увеличился даже по сравнению с утренними мгновениями, когда одеревеневшее тело не хотело его слушаться.

Из юрты вышел Мокки. Над головой он нес сбрую. Солнце сияло на сверкающей коже и на металле, и вместе с ним сиял *саис*.

– Смотри, хозяин, смотри, – воскликнул он, – Джехол не уронит себя в великом городе Кабуле, в городе короля.

– Сегодня вечером получишь мои последние наставления, – кивнул головой Турсун.

Старый *чопендоз* потянулся было к морде коня, но остановился.

– До вечера, и ты тоже, – произнес он. Рахиму же он сказал: – Жди меня здесь.

– С Джехолом? – вскричал Рахим.

Турсун ушел, не ответив.

А Рахим воздел глаза к небу, благодаря его за такую удачу.

III
ДВА СВЕТИЛА

От поместья Осман-бая до Даулатабада два часа езды рысью.

Это был всего лишь крошечный городок, но он играл роль столицы для жителей того обширного степного края, большую часть территории которого занимали пастбища, а кишлаки насчитывали столь мало людей, что обычно состояли всего лишь из нескольких глинобитных мазанок или же кучки юрт полукочевого типа. В Даулатабаде жил глава района, стоял небольшой гарнизон, имелись полицейский участок и старинный базар, занимавший центр города, а у входа в него красовалась новенькая школа.

Турсун направился к базару. Проезжая мимо школы, он заметил, что утренние уроки закончились. Однако большая группа школьников толпилась у высокого забора, скрывавшего школу и прилегающий сад. Дети были разного возраста и, судя по одежде, самого разного состояния.

Крупная лошадь, взятая Турсуном из конюшни имения, остановилась сама: толпа детей заняла и часть дороги. Они были необычно тихими и тянулись на цыпочках, раскрыв рты, со сверкающими, сосредоточенными взорами, обращенными к школе.

Из седла Турсун легко разглядел того, кто, прислонившись к стене, овладел вниманием полудиких и обычно невероятно озорных мальчишек.

«Да это же старый рассказчик Гуарди Гуэдж», – подумал он.

Опустив поводья, он сказал с чрезвычайным почтением:

– Приветствую тебя, Пращур, да будет благословенно твое возвращение.

– Мир тебе и почет, о Турсун, бывший самым славным *чопендозом* этого края, – отвечал старец слабым, но слышным далеко, как звон надтреснутого стеклянного колокольчика, голосом.

Турсун покачал головой. «Признал меня, – подумал он… – Надо же… После стольких лет отсутствия, после стольких путешествий… повидав тысячи и тысячи разных людей…»

Тут дети закричали:

– Расскажи, расскажи скорее!

Больше всех старался тщедушный мальчонка на костылях.

– Я повидаю тебя на обратном пути, Пращур, – сказал Турсун.

Коснулся шпорой бока лошади и въехал в город.

* * *

Базар в Даулатабаде был одним из самых старинных в округе, и в середине нашего века еще сохранял цвета, запахи, очертания и обычаи среднеазиатских рынков, какими они стали еще в давние времена.

В лабиринте улочек, переулков и тупиков, среди лавочек, мастерских ремесленников, сквозь соломенные навесы и сплетения живых растений над головами лучи солнца создавали контрастную игру света и тени; яркие одежды, ткани, лица, металлические украшения, фрукты сверкали на солнце, а затененные места были загадочно таинственными. Бедный дырявый *чапан* мог выглядеть там как роскошный бархат. Раскосые глаза старика-торговца, примостившегося в какой-то нише, казались скрывающими все лукавство мира. Огромные медные самовары сверкали, как золотые. На прилавках с варварской необузданностью громоздились огромные куски разрезанных мясных туш, увесистые кисти винограда, разрезанные кроваво-красные арбузы. Привязанные лошади всхрапывали, отмахиваясь от тучи мух. Порой

раздавались долгие крики верблюдов. Так, век за веком, шла торговля товарами, прибывающими теми же путями, с теми же попытками сбить или поднять цену, с неизменным чаепитием в обстановке привычной смиренной нищеты или спокойного изобилия и богатства.

Животные и люди толпились вперемешку в главных проходах и в лабиринте мелких проулков. В этой тесноте мало что значили богатство и ранг. Богач с неменьшим трудом пробивался сквозь толчею, чем нищий. И только *чопендозы* не испытывали этого неудобства. При появлении своеобразных головных уборов вокруг возникал мощный счастливый ропот. Популярные и любимые имена передавались по рядам. И какой бы плотной ни была толпа, в ней, как по мановению волшебной палочки, образовывался проход, по которому герой *бузкаши* шел свободно своей тяжеловатой, из-за высоких каблуков на сапогах, походкой. Слева и справа слышались приветствия, похвалы и благословения, ему протягивали ломти дынь, арбузов, грозди винограда. Он отвечал с барской любезностью, благодарил, смеялся, шутил, а кого-то награждал дружеским тычком.

И сквозь щелочки в *чадре* за ним следили мечтательные взоры женщин, ни одна из которых испокон веков не имела права присутствовать на всенародном игрище.

В центре базара у самого богатого торговца тканями была лавка в виде открытой со стороны улицы, просторной и глубокой крытой террасы, отделенной перегородками от соседей. В этом прохладном и полутемном помещении собрались важные лица: глава района, именовавшийся «малым» губернатором, в отличие от «большого», управлявшего всей провинцией Меймене, распорядитель *бузкаши,* Осман-бай и еще два других владельца конюшен, от которых выделялись кони для участия в королевских играх возле Кабула.

В их честь приказчики расстелили поверх обычных ковров другие, более мягкие и более дорогие. Облокотившись небрежно на свертки атласных и шелковых тканей из Персии, Индии и Японии, гости возлежали, попивая из русских фарфоровых чашек душистый зеленый чай, привезенный из Китая.

Присутствие именитых людей, как бы выставленных напоказ на подмостках, привлекало покупателей и прохожих. Хозяин не разгонял их: ему хотелось, чтобы весь базар был свидетелем того, какую ему оказали честь. Так что Турсуну, чтобы подъехать к этой лавке, пришлось поработать плеткой, заставляя лошадь растолкать грудью толпу зевак.

Слезть с коня оказалось не столь трудно. Пол террасы с громоздившимися на нем тканями располагался как раз на уровне стремян. Приказчики и слуги помогли ему сойти с коня, подложили подушки, предложили чаю. Прежде чем воспользоваться их услугами, Турсун поприветствовал, как подобает, хозяина дома и его гостей. И хотя по рангу, положению и богатству они были выше его, они ответили ему как равному, с той же вежливостью, с тем же почтением. Затем, пока Турсун не спеша располагался, медленно и с шумом пил горячий чай, все хранили молчание. Все знали, что старик не любит, когда ему докучают вопросами. Когда он хотел что-то сказать, он говорил, выбирая момент по своему усмотрению.

Юный *бача* подставил Турсуну наргиле. Турсун поднес наконечник его к губам и вдохнул дым, освеженный водой. И только после этого, обращаясь одновременно к распорядителю *бузкаши,* к «малому» губернатору и к Осман-баю, промолвил:

– Я сделал выбор.

Он назвал имена всадников и коней, назначенных им для поездки в Кабул, и умолк. В этой стране, где красноречие не редкость, Турсун говорил мало. Тем больше уважения, смешанного даже с некоторой опаской, он внушал.

– Все отлично, как всегда у тебя, – сказал распорядитель *бузкаши,* ведавший командами чопендозов по всей провинции.

В свои шестьдесят лет он был высок, строен, с правильными и благородными чертами лица. Великолепный *чапан* зеленого шелка в широкую белую полоску ниспадал на брюки серебристо-серого цвета и доходящие до колен сапоги из очень мягкой кожи. Лицо его, голос

и манеры выдавали в нем знатную персону. Однако если Турсун поклоном отблагодарил его за похвалу, то это относилось исключительно к тому, что восседавший перед ним человек знал лошадей и всадников почти так же хорошо, как он сам.

– *Чопендозы,* кони и *саисы* отправятся на грузовиках, – продолжал распорядитель *бузкаши.* – Им понадобится несколько дней, чтобы привыкнуть к воздуху Кабула.

– Это правильно… ведь столица на шесть тысяч футов выше наших мест, – сказал Осман-бай со своей вечной улыбкой на жирном лоснящемся лице, с помощью которой он будто извинялся за свое богатство.

Опять наступила пауза. Наргиле пошло по кругу. Турсун прикрыл глаза. Осман-бай вопросительно посмотрел на «малого» губернатора, и тот, коснувшись рукой колена распорядителя *бузкаши,* прошептал ему на ухо:

– А Уроз?.. Только ты можешь задать этот вопрос.

Тут распорядитель, поглаживая своей очень красивой холеной рукой рукоять нагайки с серебряной инкрустацией, произнес:

– Извини, достопочтенный Турсун, если я покажусь тебе нетерпеливым, что не слишком приличествует нашим седым волосам. Долг меня, однако, обязывает… Нам еще не известно, какого коня ты предназначаешь для твоего сына Уроза.

– Сын мой должен был быть с вами, – отвечал Турсун, по-прежнему не открывая глаз.

– Его видели на базаре, – заметил «малый» губернатор.

– Где? – спросил Турсун.

– Возле боя верблюдов, – ответил Осман-бай, улыбаясь.

– Он что, не знает, что вы здесь собрались? – спросил Турсун, так и не подняв век.

– Он хочет досмотреть бой до конца, – сообщил «малый» губернатор.

Турсун медленно открыл глаза и оглядел своих собеседников.

– *Бача,* – приказал он мальчику, как раз в этот момент подававшему ему наргиле, – пойди и скажи Урозу, что я здесь.

* * *

С южной стороны базар в Даулатабаде ограничивали развалины древней крепости. Кривые крытые улочки внезапно выходили на широкую площадь, обрамленную зубчатой стеной из красноватой глины. Из полумрака и тесноты узких проходов человек внезапно выходил на простор, ярко освещенный степным полуденным солнцем.

Обычно в знойное время суток это место пустовало. Лишь у подножия полуразрушенных стен, в узенькой полоске тени порой можно было видеть горы больших тюков, снятых караванщиками с верблюдов. Но в этот день весь пустырь был заполнен людьми. Плечом к плечу стояли одни мужчины, и общее волнение, сильное и грубое, охватывало их, превращая толпу в единый организм. А над чалмами метались в диком сражении две покрытые липкой слюной, оскаленные, уродливые головы верблюдов на длинных узловатых и скрученных шеях.

В Даулатабаде, как и повсюду в Афганистане, любимым зрелищем толпы были бои животных, бьющих, душащих или раздирающих друг друга: петушиные бои, драки бойцовых псов, поединки баранов и перепелов. Но из всех кровавых состязаний подобного рода любимейшими были бои верблюдов, потому что это зрелище было самым редким. Для него отбирались особенно сильные и особенно свирепые экземпляры, но даже и такие готовы были биться насмерть только во время гона.

Как раз в этот момент по стечению обстоятельств и период был благоприятный, и в караване, пришедшем из Бадахшана, оказалось два могучих, очень агрессивных самца, и хозяевам их хотелось извлечь максимум выгоды из этого дикого зрелища.

Даже в минуты покоя два мохнатых гиганта темной масти внушали страх своею злобностью. А теперь, в смертельной схватке, они выглядели наполовину хищными зверями, наполовину чудовищами. Их длинные мускулистые ноги натыкались друг на друга, сплетались, хрустели в суставах, едва не ломаясь, и вновь сплетались, подобно клубку огромных, уродливых, покрытых клочьями шерсти змей. А над темными всклокоченными горбами, дергающимися от яростных атак, раскачивались и переплетались еще два гигантских подобия пресмыкающихся: шеи сцепившихся самцов. Их увенчивали разинутые пасти, а из обвисших огромных губ, дергающихся в отвратительном тике, извергались потоки густой слюны со сгустками крови.

Два черных гиганта бились коленками и копытами, кусались, падали, вставали, сцеплялись, расходились, сбивались в кучу и пытались вцепиться друг в друга зубами, задушить, выпустить внутренности. Торчащие члены, неукротимый зов плоти, но вместо яростного совокупления – неистовый бой, словно пришедший из мрака ночных глубин вселенной, жестокая схватка, а в небе – кружение ястребов и степных орлов над руинами крепости, над резко выделявшимися на фоне ослепительного неба зубчатыми стенами из красной и розовой глины.

Схватка сопровождалась постоянным ревом, то торжествующим, то угасающим, соединившим в себе и жалобу, и ярость, и воинственный клич, и клокотание жизненных соков, и напоминание о неизбежности смерти. На каждое движение, на каждый рев животных, охваченных жестоким безумием, отвечал вопль толпы, разгоряченной палящими лучами солнца, запахом крови, пота и мочи, обильно выделяемой верблюдами.

Но был в толпе один зритель, который, хотя и стоял в первом ряду, внешне казался совершенно не вовлеченным в общее исступление. Руки его неподвижно висели вдоль коричневого *чапана,* а на лице с тонкими хищными чертами под меховой шапкой *чопендоза* ни один мускул не выдавал волнения. Лишь изредка подрагивание губ, похожее на волчий оскал, выдавало его интерес к бою. Но когда *бача* торговца тканями потянул его за руку, обжигающий взгляд сузившихся глаз показал, что и этот человек тоже, хотя и втайне, находился во власти всеобщего безумия.

– Что тебе надо от меня, клоп ты базарный? – прошипел он, сдерживая злость.

Бача вобрал голову в плечи и быстро проговорил:

– Тебя срочно ждут у моего хозяина.

– Я ведь уже сказал: когда кончится бой, – ответил *чопендоз.*

– Но…

А *чопендоз* уже забыл о существовании посланца. Толпа издала вопль еще более пронзительный, чем все предыдущие. Шеи верблюдов переплелись в судорожном усилии, и раздался хруст ломаемых позвонков. Неужели конец одного из бойцов? Но кто именно сейчас рухнет?

Волчий оскал опять вздернул губы *чопендоза.* В таком состоянии ничто не могло дойти до его сознания. Однако хватило одного имени.

– Турсун… – произнес бача.

Тот невольно прислушался.

– Достопочтенный Турсун, твой отец, приехал и зовет тебя…

Еще несколько мгновений человек в меховой шапке выжидал, надеясь, что бой вот-вот закончится, и все, таким образом, решится само собой. Но верблюды расцепились и ревели изо всех сил, задирая морды к раскаленному небу, к зубчатым красным стенам, словно призывая их на помощь в последней схватке.

– Твой отец… великий Турсун… – лепетал *бача.*

И *чопендоз* покинул место боя.

* * *

Уроз шел с высоко поднятой головой, глядя своими слегка раскосыми глазами лишь на узкий проход, освобождаемый для него толпой, создаваемый ею в своем собственном теле еще с большим основанием, чем для любого другого *чопендоза*.

Разве не он был самым знаменитым?

Уроз, казалось, не видел проявлений этого исключительного почтения и, казалось, не слышал похвал в свой адрес, а если и слышал, то внимал им без удовольствия, скорее даже с неприязнью. Дело в том, что он был весь во власти противоречий. С одной стороны, им владела сильная, можно сказать, единственная страсть: жажда славы. Без нее он не мог жить. Она нужна была ему любой ценой. Как хлеб, как вода. И слава ему принадлежала, преследовала его, шла за ним, сияющая, верная и покорная. Но кто дарил ее ему? Толпа… чернь… Вонючая потная масса. Простодушные взоры. Безвольные рты… И вот он, Уроз, чья честь требовала, чтобы он никогда и ни в ком не нуждался, зависел от этого стада в самом главном, в том, что составляло для него смысл жизни.

Слава. Да. Солнце в степном небе – да. Песнь ветра в высоких травах – да. Но только не эти голоса! Только не эти лица!

Не слышать их. Не видеть их. Шагать будто с шорами на глазах. Сжав зубы, крепко сжав зубы…

Так шел Уроз на высоченных каблуках, человек, не желавший жить без почестей, даруемых людьми, и в то же время отвергавший их право распоряжаться этими почестями.

На его лице, хищном и ясном, заостренность которого подчеркивала клинообразная бородка, от стиснутых зубов ходили желваки под кожей и еще четче выступали скулы. А базар шушукал:

– Он совсем не такой, как все остальные.

– От него ни слова не услышишь…

– Никогда не улыбнется.

– Такой гордый. Такой неприступный.

– Ни с кем не дружит.

– Даже с лошадьми жесток.

– Смотреть страшно.

– Волк, а не человек.

И за это вот удивление и за внушаемый им страх толпа восхищалась Урозом еще больше. А ему этот испытываемый людьми страх обычно доставлял большое удовольствие. Гордыня его упивалась этим чувством.

Обычно. Но не в этот день. «Сегодня я сам боюсь, – размышлял Уроз. – Сегодня я сам похож на собаку, лежащую лапками кверху. Мне свистнули, и я бегу». Перед глазами промелькнула драка верблюдов, конца которой он не дождался, и он сказал себе:

«Клянусь Пророком, мне не нужно ничего и мне никто не нужен. Я ничего и никого не боюсь. И докажу *ему* это».

* * *

Наргиле, обойдя по кругу всех, оказалось в руках Осман-бая. Благодаря своему богатству и привилегированному положению, он лучше всех других гостей умел ублажать свои чувства. И предвкушение удовольствия уже отражалось на его лоснящемся лице, но вдруг, насторожившись, он выпрямился и приподнялся на подушках, которыми был обложен со всех сторон.

Сначала издалека донесся неясный шум, и на улице возникла толчея, потом в толпе стал образовываться проход, что казалось просто невероятным, – настолько толпа была плотная. Покупатели, зеваки, продавцы воды, лотошники и даже упрямые погонщики ослов – самые упрямые в мире люди – все теснились, отступая к прилавкам лавочек. Так образовался узкий проход, а в самом конце его появился мужчина в меховой шапке.

Турсун первым увидел и узнал его. Он тихо и небрежно произнес:

– А вот и Уроз.

И это имя, словно вырванное из его уст толпой, вернулось к нему многократно повторенное торжествующим эхом:

– Уроз… Уроз… Уроз… Уроз…

Сам не замечая своего движения, Турсун мало-помалу оторвал спину от подушек. Он слышал теперь:

– Уроз… Уроз… сын Турсуна.

Опершись на свои огромные ладони, Турсун сидел, выпрямившись всем своим массивным телом. Такой дар судьбы нельзя принимать лежа. Турсун давно свыкся с мыслью, что давно умерли в нем, стали безразличными и сладко щекочущее нервы чувство гордости, и ощущение горячего дыхания славы. С тех пор как он удалился в имение Осман-бая, давным-давно его лицо и широкая известность разошлись друг с другом, ибо легенда смазывает черты живущих героев. Старый Турсун хорошо знал: если сейчас к имени Уроза прибавляли его имя, то это делалось по привычке, по древнему обычаю, подобно тому, как когда-то *они* кричали:

– Турсун, Турсун, сын Тонгута.

Неважно! После столь долгого молчания до него вновь доносится голос толпы.

И поскольку этот восхитительный клич раздавался в воздухе благодаря его сыну, Турсун внезапно счел простительным то, что раздражало его и не нравилось в Урозе. Недостаточно широк в плечах? Зато какая гибкость, какая удивительная быстрота движений. На лице нет шрамов, почетных примет *чопендоза?* Но это же лишнее доказательство его искусства! Чересчур легкая походка, недостойная уважающего себя сорокапятилетнего мужчины? Зато как ловок в седле! И даже этот волчий оскал на лице, против которого в детстве оказалась бессильна даже плетка, все прощал ему сейчас Турсун, слушая крики толпы, где их имена произносились вместе, чем он был вправе гордиться.

Уроз подошел к террасе торговца тканями. И не стал подыматься по ступенькам, а прыжком, лишь слегка опершись о край помоста, очутился на покрытом коврами возвышении.

Купец и его гости встали, чтобы поприветствовать его. Встали все, кроме Турсуна. Какое ему было дело до того, что Уроз был лучшим во всей провинции *чопендозом.* Он, Турсун, был так же славен до него. Этот *чопендоз* был всего лишь его сыном.

Когда Уроз увидел монументальную фигуру Турсуна, восседающего по-турецки на ковре, то невольно подумал: «Все остальные здесь и богаче его, и знатнее, и могущественнее этого старика. Но господин здесь он».

И, поборов гордыню, Уроз поклонился, как положено, до плеча Турсуна, коснулся плеча лбом и произнес слова уважения и покорности почти раболепные, но обязательные для сына, приветствующего отца, несмотря на то, что он ненавидел его вот уже почти тридцать лет.

Покорность Уроза в присутствии боготворящей его толпы на мгновение пробудила в Турсуне отцовские чувства.

Он встал и поднял руку. Сразу же наступила тишина, и Турсун сказал:

– Я не люблю бесполезных слов. Стало быть, слушайте, я буду краток. У меня есть новый жеребец, готовый участвовать в играх. Имя ему – Бешеный конь.

– Нам это имя известно, – закричали в толпе.

– Конь, о котором я говорю, – последний отпрыск носивших это имя коней, причем самый лучший, – продолжал Турсун.

– Тогда, – пришел к выводу распорядитель *бузкаши,* – тогда ему нет равного во всех трех провинциях.

– Я тоже так думаю, – согласился Турсун. – Поэтому на нем будет скакать в Кабуле мой сын Уроз.

Турсун перевел дух. Он сказал то, что хотел сказать. Теперь он мог вернуться на свое место среди подушек. Но вместо этого он вновь поднял руку, показывая, что речь его не кончена.

Что испытывал он? Желание продлить в себе ощущение горячей любви толпы, подобно тому, как человек, долго живший в полночных странах, не может насытиться теплом солнечных лучей? Или же не хотел остаться в долгу у Уроза?

– Слушайте все, кто здесь есть, – медленно произнес Турсун, – вы, которые слышите и разнесете по округе мои слова, будьте свидетелями. Если в Кабуле, нашей столице, мой Джехол выиграет Королевский *бузкаши,* он тут же станет собственностью Уроза, моего сына, и будет принадлежать только ему.

Сообщив о своем решении, Турсун сел, выпрямив грудь и скрестив ноги.

Еще не успел он закончить этих телодвижений, как послышались возгласы, крики и суждения. В них смешивались правда, ложь, фантазии. Всех поразила щедрость подарка. Все кричали, восхваляя этот поступок:

– Отдать такого жеребца!

– Такую ценность!

– Такую гордость!

– Вот поистине добрый и щедрый отец!

– Как же он любит своего сына!

И Турсун с удивлением подумал: «А ведь, наверное, так оно и есть. Раз я так поступил, значит, должно быть, люблю его».

Уроз смотрел на Турсуна, и на его горделивом и жестоком лице застыло почти детское выражение удивленного недоверия. Он, презревший традиции, презревший обычаи рода и семьи и никогда не имевший коня, так как предпочитал тратить заработанные деньги на праздничные пиры, на дорогие сапоги да шапки, на бои баранов, петухов, собак и перепелов, он, добивавшийся победы только на чужих лошадях, вдруг получает Бешеного коня. В собственность. Ведь он уже ездил на нем. И они друг к другу уже привыкли. А значит, им сам бог велел выиграть королевские игры.

И когда после этого Уроз склонился, чтобы поцеловать плечо Турсуна, впервые в жизни он делал это охотно и с радостью. В голове у него вертелось: «Это же мой отец, мой настоящий отец. Я горжусь им и люблю его».

* * *

В глубине лавки гостям было предложено угощение. Турсун и Уроз сидели рядом, но говорили друг с другом мало. Но все равно, разламывая теплую и нежную лепешку или запуская пальцы в душистый плов с десятком разных пряностей, в бешбармак или беляши, протягивая руку за овечьим сыром, чувствовали, что делят не только пищу.

Застолье было долгим. Наконец, слуги стали поливать на руки гостей воду из кувшинов-кумганов. Распорядитель *бузкаши* тут сказал:

– Благодарю хозяина дома и прошу извинить меня… Мне пора.

На опустевших улочках базара начинало темнеть. «Малый» губернатор проводил своих друзей до главной площади Даулатабада, где находилась его резиденция. Там стояла американская машина старой модели, большая и вся сверкающая. Верх ее был откинут. Шофер Османбая, в *чапане* и с чалмой на голове, открыл дверцы. Хозяин машины пригласил распорядителя

бузкаши и Уроза сесть на почетные передние места. Сам же с двумя местными богачами сел сзади.

В связи с такой важной миссией шофер постарался извлечь из мотора и сигнала как можно больше оглушительного шума. Автомобиль совершил круг почета на площади. Сидевшие в нем кричали, смеялись, махали руками. В воздухе колыхались ткани тюрбанов и ярких *чапанов.* Только шапка Уроза из волчьего меха оставалась неподвижной. Турсун смотрел, как она скрылась за поворотом. Он вдруг почувствовал, что в груди его сразу стало как-то пусто. Чужой человек вместе с другими чужими людьми уехал по пыльной дороге, ведущей через Меймене и Мазари-Шариф, к перевалам через Гиндукуш… А там… Турсун ощутил горечь во рту… На том небывалом *бузкаши,* что состоится в Кабуле в присутствии короля, на своего Бешеного коня сядет не он.

«Малый» губернатор спросил:

– Не хочешь ли ты, о Турсун, оказать мне честь и попить со мной чаю, зеленого или черного, какого пожелаешь?

– Нет, – резко ответил Турсун.

У него сейчас было одно лишь желание: как можно скорее оказаться посреди круглой поляны с прудом, возле своего любимца.

* * *

Проезжая перед школой, Турсун увидел Гуарди Гуэджа, прислонившегося к темной стене, на этот раз одного. Турсун поприветствовал старика и хотел было проехать мимо. Однако вдруг, неожиданно для самого себя, остановил лошадь и произнес:

– Сделай мне удовольствие, о Пращур, прими мое бедное гостеприимство.

– Буду счастлив и сочту за честь, – отвечал Гуарди Гуэдж.

Он поставил ногу на сапог всадника, протянул ему тощую руку и тот, подсаживая старика на круп лошади, удивился: до чего легок, почти невесом был старец.

– Прежде всего, – сказал Турсун, – я покажу тебе моего скакуна.

– Джехола, последнего Бешеного коня, – молвил старый сказочник.

Впервые имя гнедого прозвучало во всей красе и значимо – с тем тайным смыслом, который понимал только Турсун. Тут старый *чопендоз* понял, что пригласил к себе Гуарди Гуэджа потому, что после столь необычного дня ему нужен был рядом человек более мудрый, чем он сам.

Ехали они быстро и молча. В имении Осман-бая Турсун постарался обогнуть главную усадьбу и службы так, чтобы добраться до своей поляны, никого не встретив.

Возле зеленой изгороди из деревьев сидел Рахим со счастливым лицом и любовался тихим и легким небосклоном, на котором уже были видны первые признаки приближения сумерек. Он прожил самый прекрасный день в своей жизни.

Заметив Турсуна, *бача* побежал ему навстречу, чтобы помочь спуститься с коня. Продолжая сидеть в седле, Турсун спросил:

– Что ты тут делаешь?

– Ты же позволил мне остаться здесь, хозяин, – широко улыбнулся Рахим.

– Почему ты не рядом с Мокки и с конем? *Бача* от удивления попятился назад.

– Хозяин, разве ты не знаешь? Взгляд Турсуна остановил Рахима.

– Что не знаешь? – спросил Турсун.

– То, что они уехали… уехали в Кабул, – ответил Рахим.

– В Кабул? Не подождав моего возвращения? Я же приказал *саису*…

Голос Турсуна был тихим и хриплым.

– А что он мог? – воскликнул мальчик. – Приехал грузовик с солдатами малого губернатора, и у них был приказ распорядителя *бузкаши* увезти Джехола.

– Здесь распоряжаюсь я, и только я, – грозно промолвил Турсун. Молчи, неверный *бача.*

И с высоты седла, задев локтем старика-рассказчика, сидевшего позади, Турсун дважды ударил Рахима плеткой по лицу. Свинцовый шарик, закрепленный на конце ее, разорвал кожу, и на обеих щеках слуги мгновенно выступила кровь. Турсун ускакал крупной рысью.

Рахим стоял с опущенными вниз руками, не стирая кровь. Он не плакал. И не сердился на Турсуна. Старый наездник был для мальчика воплощением судьбы.

* * *

Имение Осман-бая с одной стороны омывалось небольшой речкой Ширидарья, медленно несущей между глинистыми красноватыми берегами свои мутные воды, обильно засоренные овечьим навозом.

Лошадь с Турсуном и Гуарди Гуэджем осторожно спустилась с крутого берега, прошла по мокрой чавкающей глине и легко перешла речку вброд. Вода не доходила до стремян. Труднее было подниматься на противоположный берег, такой же крутой и скользкий. Наверху копыта пошли легче по каменистой сухой равнине. Быстрой рысью Турсун добрался до небольшого, имеющего форму полумесяца плато, прислонившегося к склону холма. Там стояло несколько убогих мазанок. Посреди плато виднелась большая юрта традиционного узбекского типа, нечто среднее между шатром и шалашом. Круглое в основании, конической формы, это одновременно и походное, и оседлое обиталище было сделано частично из войлока, частично из тростника.

Когда всадники проезжали мимо мазанок, старый сказочник тихо промолвил:

– Калакчекан.

А когда сошли с коня возле юрты, Гуарди Гуэдж сказал Турсуну:

– Жилище это поставил здесь твой дед, когда выменял этот участок земли за несколько ожидавших окота овец.

Хотя и знал Турсун, какова память у Гуарди Гуэджа, услышав эти слова, он был очень удивлен. Но виду не показал и повернулся к тут же подошедшему к ним согбенному дехканину в лохмотьях, за которым следовал столь же бедно одетый мальчик.

Те помогли всадникам спешиться. Мальчик взобрался на лошадь и отвел ее. Дехканин выслушал распоряжения Турсуна. И только после этого, внешне не проявляя любопытства, старый *чопендоз* спросил:

– Как тебе удается, о Пращур, запоминать все на свете?

– Глаза и сердце хорошо запоминают то, что им полюбилось, – отвечал Гуарди Гуэдж. – Дед твой выбрал это место, потому что оно очень на него походило: нагорье это бедное и невысокое, но человек здесь чувствует себя хозяином и отсюда далеко видна степь.

Сколько раз, вот в такую же вечернюю пору, Турсун окидывал взглядом равнину, уходящую вдаль, до самого горизонта, и сердце его наполнял покой, душа освобождалась от всех мелочных забот, свет заката озарял бескрайнюю степь, и небогатая здешняя растительность превращалась в легкие, прозрачные, драгоценные травы, по которым хотелось скакать, скакать и скакать…

Слова Гуарди Гуэджа вызвали у него в памяти образ старого, некрасивого, даже уродливого деда, и впервые в голову ему пришла мысль, что вот с этих же мест и с таким же ощущением счастья окидывал тот долгим взглядом степь и что была она для него, как вот сейчас для Турсуна, великой страницей мудрости, на которой каждая неровность, каждая ложбина были словно буквами в алфавите вечности.

– Скажи, – задумчиво спросил Турсун, – ты видел столько разных земель и людей, но многие ли из них полюбились твоему сердцу?

Гуарди Гуэдж слегка покачал головой.

– Много мест есть на свете и много людей, достойных любви, – заметил он. – Ты не находишь?

– Нет, – возразил Турсун. – Нет. Друг для всех – значит ни для кого не друг.

– Ну а что и кто были дороги для тебя? – спросил Гуарди Гуэдж.

– Вот это, – показал Турсун на степь. – И еще прекрасные кони. И несколько хороших *чопендозов.*

Мальчик вернулся из деревни. Он вытащил из юрты скамью, потом – тяжелый, грубо сколоченный стол.

– Скоро ты, о Пращур, сможешь подкрепиться, – произнес Турсун.

Оба они сели рядом, лицом к плато и к простиравшейся ниже плато бескрайней равнине. Солнце медленно опускалось. На гребнях далеких холмов двигались стада овец. Черными силуэтами выделялись на фоне неба верховые пастухи с ружьями. Некоторые из них играли на тростниковых дудках. В степной тиши до Турсуна доносились их примитивные и ясные мелодии. Он с детства привык к этим жалобным звукам. Для него они были одним из элементов сумерек. Но тут ему вдруг показалось, что он никогда не ощущал печали и одиночества этих мелодий, и почувствовал где-то глубоко в груди нестерпимую пустоту и холод. И неожиданно спросил:

– Скажи, Пращур, как называется та местность возле Кабула, где будет проходить Королевский *бузкаши?*

– Баграм, – сказал Гуарди Гуэдж.

– Велико ли там поле? – спросил опять Турсун.

Старик ответил вопросом на вопрос.

– А почему ты не захотел сам повидать его? Тебе ведь предложили, как я полагаю, поехать вместе с *чопендозами,* чтобы достойно представить там ваш край.

– Слишком стар я стал, – глухим, грубым голосом ответил Турсун.

– Не так-то ты и стар, – возразил Гуарди Гуэдж. – Ты же ведь страдаешь от сознания, что стареешь.

– Объясни получше, – сказал Турсун.

– Настоящая старость, – объяснил Гуарди Гуэдж, – наступает, когда кончаются все мучения. Когда забываются муки гордости, не остается больше никаких сожалений, когда перестаешь огорчаться. Старость не завидует силе своей собственной крови.

Турсун наполовину выпрямился, опершись руками на шершавую поверхность стола, и вопросительно посмотрел на своего собеседника:

– Почему ты говоришь мне это? Почему?

Не спуская своих утративших возраст глаз с горизонта, Гуарди Гуэдж ответил:

– Ты ненавидишь своего сына, своего единственного сына, как никогда и никого не ненавидел, потому что не Турсун, а Уроз швырнет, быть может, обезглавленную тушу козла в меловой круг к ногам короля.

Голова старого *чопендоза* слегка склонилась, и он еще сильнее оперся о стол своими огромными ладонями.

– Ты не можешь простить Урозу, – продолжал старец, – что он вместо тебя поскачет на Бешеном коне, хотя ты же сам и подарил его сыну.

Неукротимая шея Турсуна склонилась еще ниже.

– И, желая отомстить сыну, изуродовал счастливое лицо мальчика, – закончил Гуарди Гуэдж.

Турсун откинулся на скамью, ослабевший, сломленный. Посадив вечного сказочника на круп своего коня, он приблизил к себе истину. И понял теперь: именно этого ему в глубине души и хотелось.

Такой прямой в поступках, так хорошо знающий, чем он обязан людям и чем они обязаны ему, человек цельный, никогда не знавший внутреннего раздвоения, он, Турсун, провел весь этот несчастливый день, сам не зная, чего он по-настоящему хочет, и, испытывая то одно неясное чувство, то другое, еще более непроницаемое, мучился от слепой ярости и бессилия, как норовистый конь, пойманный арканом. В одиночку он не мог развязать этот затянувшийся на его шее узел. Он был рожден, чтобы решительно рубить. Но не более того. Вот поэтому-то он и позвал на помощь Гуарди Гуэджа.

И помощь подоспела. Турсун, пожелавший узнать о себе мнение со стороны, сохранив при этом достоинство, услышал то, что отказывался знать из-за своего горделивого упрямства.

Сначала он удивился, что так вот принял с поникшей головой, такое суждение постороннего о себе, высказанное голосом, напоминающим звон надтреснутого стеклянного колокольчика. Но потом понял, что, к счастью, нашел этого необыкновенного старого и мудрого человека, который сумел, не унизив его, великого Турсуна, показать ему его собственные мучения, его стыд и его несчастье.

Подняв голову, он вымолвил:

– Ты прав, Пращур. Но что же мне делать?

– Побыстрее постареть, – отвечал Гуарди Гуэдж. Они помолчали. Тем временем сутулый дехканин принес им блюдо с горячим пловом, миндальную халву с изюмом, кислое молоко, нарезанный арбуз и чай. Но Гуарди Гуэдж и Турсун сидели, глядя в небо.

Надо сказать, что это был период полнолуния. Месяц уже взошел, хотя солнце еще не скрылось за горизонтом. Так что, разделенные небосводом, видны были с одной и с другой стороны сразу два светила. И наступил момент, когда оба они оказались вместе, повисли в равновесии на одном уровне над землей, одного цвета и одной величины. Их красные диски словно остановились, чтобы вечно обрамлять Калакчеканское плоскогорье.

А потом солнце, опускаясь, стало огненно-красным, а луна, поднимаясь, приняла золотистый оттенок. Дневное светило скатилось в бездну, а ночное поднялось на темнеющем небосклоне.

Сутулый дехканин с укором посмотрел на Турсуна:

– Плов и чай остынут, и гостю их вкус покажется менее приятным.

– Ты прав, – ответил Турсун.

И повернулся к Гуарди Гуэджу:

– Извини меня, Пращур. Я задумался о другом.

Они принялись за еду. Дехканин удалился.

– У тебя хороший слуга, – отметил Гуарди Гуэдж.

– Да, хороший, – согласился Турсун. – А Мокки, его сын, станет когда-нибудь хорошим чопендозом.

Пока что он служит *саисом* при Бешеном коне.

Тут внезапно вся пища показалась горькой Турсуну, и он перестал есть.

– Ты же видел сейчас небо, – сказал Гуарди Гуэдж. – В жизни ничто не остается в постоянном равновесии. Одно поднимается, другое опускается.

– Да, – сказал Турсун, сжимая кулаки. – Да, но завтра солнце опять встанет.

– И мы тоже, быть может, – отвечал Гуарди Гуэдж.

Луна ярким светом заливала равнину. В какой-то хижине заброшенного крошечного селения Калакчекан послышались негромкие звуки домбры и бубна.

IV
ДЕНЬ СЛАВЫ

Запели, зазвенели кавалерийские трубы.

Небо было ясное, солнце грело в полную силу, а со стороны снежных вершин долетал свежий ветерок. Колыхались, хлопая на ветру, словно танцуя и припевая, флаги, знамена, стяги и вымпелы, окаймлявшие весь Баграм. Здесь, на высоте в шесть тысяч футов, должен был состояться первый Королевский *бузкаши.*

Поле было обширное, но не бескрайнее. Всадники не могли надолго исчезнуть из поля зрения публики, желающей видеть все этапы скачки и борьбы наездников, не могли раствориться на час или два, а то и больше, в бесформенном пространстве, как они имели обыкновение это делать в своих родных степях.

К северу от поля глинобитные кишлачные домики, свежевыкрашенные в розовые и голубые тона, создавали на фоне гор праздничное обрамление. По западному краю тянулась длинная каменная стенка. С восточной стороны пестрая колонна грузовиков, сверкающих всеми цветами радуги, выполняла функцию еще одной ограды. Ну и, наконец, с южной стороны за дорогой, ведущей в Кабул, возвышался холм.

И повсюду – вдоль стены и вдоль грузовиков, на плоских крышах и в складках местности – везде пестрели халаты, шаровары, разноцветные куртки и тюрбаны, вибрирующие в пронизанном солнцем и ветром воздухе. Глядя на это скопление людей, можно было подумать, что в Кабуле не осталось никого – ни молодых, ни стариков, ни детей.

А трубы все пели и пели.

Их веселые звонкие голоса, разносимые ветром, придавали бодрости тысячам и тысячам людей, большая часть которых прошла с утра пешком по пыльной дороге восемь километров, отделявших столицу от ристалища. А люди все подходили и подходили. Над дорогой висели облака пыли, сквозь которые с трудом пробивались солнечные лучи. Путники изнывали от жажды и, когда они, наконец, добирались до холма, расположенного к югу от дороги, то первым делом шли к эфемерным *чайханам* и к лоткам, наспех сколоченным накануне расторопными торговцами винограда и дынь, арбузов и гранатов. Люди более состоятельные громко подзывали мальчишек с наргиле, шнырявших в толпе и получавших монеты за каждую затяжку дымом.

А трубы все пели и пели.

Напротив холма, с другой стороны, проходившей у самого подножия холма, стояли вплотную к игровому полю, даже вдавшись слегка в него, построенные специально по случаю праздника три павильона светлого дерева, обтянутые яркими тканями. Народ, еще не освободившийся от воспоминаний о кочевой жизни, называл их большими шатрами.

Афганские сановники в европейских одеждах, но с шапочками *кулах,* напоминавшими пирожки, заполняли шатер справа. Высокопоставленные иностранцы располагались в левом шатре. А вот в центральном павильоне, где посередине стояло большое красное кресло, пока никого не было. Там ждали короля.

Люди в каракулевых шапочках разглядывали иностранных гостей. Среди них были люди, воплощавшие знание, богатство и силу самых могущественных стран мира. Но глаза афганцев не останавливались на этих высокопоставленных офицерах, на этих ученых, на этих главах дипломатических миссий. Как зачарованные, не веря своим глазам, смотрели они на женщин, находившихся в павильоне для иностранцев. Удивление было понятно: в огромной массе народа, скопившейся вокруг поля, не было ни одной женщины – только здесь, в этом маленьком уголке. Даже под *чадрой,* прячущей женщину с головы до пят, даже за тройной волосяной сеткой, удушающей маской, скрывающей лицо, ни одна женщина, хоть на севере, хоть на

юге от Гиндукуша, будь она хоть самого скромного, хоть самого знатного происхождения, не должна была и не могла присутствовать ни на каком публичном зрелище, даже освященном традицией, вошедшем в плоть и кровь народа.

Проходили один за другим века, но степнячки никогда не видел игр, о которых с увлечением говорили, которыми жили, которыми бредили их отцы и мужья, братья и сыновья. И когда, наконец, праздник дошел до столицы и проводился во славу короля, то все подданные его, до последнего кабульского нищего, были приглашены порадоваться зрелищу, все, но только не королева, жена короля. Задумчиво сидели афганские сановники, слушая громкие разговоры и звонкий смех иностранок с обнаженными руками и голыми шеями.

А трубы все пели и пели. И колыхались знамена.

Вот два солдата пронесли перед почетными трибунами большую обезглавленную тушу козла. Из шеи туши еще струилась кровь. Над крышами домов, над грузовиками, по склонам холма пронеслись выражающие нетерпение хриплые крики. Послышались взвизгивания иностранных дам.

Солдаты положили волосатую массу в неглубокую ямку, неподалеку от все еще пустой королевской трибуны, как раз напротив красного кресла. Слева от ямы, на таком же расстоянии от королевского шатра, блестел на солнце выкрашенный известью Круг справедливости. А еще ближе к трибунам, вдоль трех почетных павильонов, был вырыт для страховки широкий и глубокий ров с почти отвесными зацементированными откосами, предохраняющий монарха и его гостей. Такой был совет специалистов, прибывших из степных районов. Уж они-то знали, что разгоряченные пылом борьбы наездники не будут считаться ни с кем и ни с чем, даже с королем, в честь которого, собственно, они и собирались рисковать жизнью.

Еще громче, еще звонче запели трубы. До трибун донеслась пыль от остановившихся на дороге автомобилей. Послышалось звяканье оружия, взятого «на караул». Толпа зашумела. В королевский шатер вошел в сопровождении свиты Захир-шах. Высокий, стройный, породистый, в европейской одежде, с шапочкой *кулах* из самого драгоценного каракуля на голове, он медленно приблизился к балюстраде.

После этого на огромном поле, обрамленном солдатами в касках, конными солдатами, у которых пики были украшены алыми плещущими на ветру флажками, шумной, яркой толпой, а за ней – цепями гор под ярким небом, начался парад, открывающий Королевский *бузкаши.*

На другом конце поля, там, где виднелся розово-голубой кишлак, до этого едва заметная группа всадников колыхнулась и торжественно, неторопливо стала приближаться к королевской трибуне. Впереди, выстроившись треугольником, ехали три трубача, наигрывая веселую и шаловливую, как походка девушки, мелодию, разлетающуюся на ветру. В нескольких шагах от них, красиво сдерживая великолепного арабского скакуна, ехал молодой полковник, родственник короля, назначенный руководителем и главным судьей состязаний. За ним ехали три седовласых всадника, пожилых, но настолько натренированных наездников, что они – это было сразу заметно, – явно чувствовали себя в седле лучше, чем на мягчайших подушках. Каждый из них привел с собой свою команду – из провинций Меймене, Мазари-Шариф и Каттаган, где с незапамятных времен водились самые выносливые, самые быстрые и прекрасно обученные кони и где жили самые сильные и ловкие всадники, достойные более чем кто-либо еще показать свое искусство самому королю.

Распорядители *бузкаши* были одеты в шелковые зеленые *чапаны* в белую полоску.

За ними ехали три команды, в каждой – по двадцать всадников, развернувшихся в цепочку. Неторопливо, шаг за шагом, приближались и росли на глазах шестьдесят самых лучших, самых знаменитых *чопендозов,* отобранных после сотен беспощадных, изнурительных испытаний, ехали на самых прекрасных конях Трех Провинций.

На этот раз *чопендозы* были одеты не в обычные чапаны. У каждой команды был теперь свой костюм, специально задуманный и пошитый для Королевского *бузкаши.* Те, кто приехали

из Каттагана, были в белых рубахах в зеленую полоску и широких серых брюках, заправленных в черные сапоги выше колен. Наездники из Мазари-Шарифа красовались в куртках и брюках ржаво-коричневого цвета и рыжеватых коротких сапогах, доходящих до середины икр. А вот всадники из Меймене обуты были так же, но их темно-коричневые жокейские куртки были короче и просторнее. И на спине у них, словно звезда, красовалась белая шкурка каракулевого ягненка. На голове у всех *чопендозов* была круглая шапочка с грубым мехом вокруг и острой верхушкой, сделанная, в зависимости от провинции, из толстой шерсти или из грубой кожи.

Вот в таком облачении медленно двигались они, с нагайками в руке, на великолепных конях всех мастей – от вороных до безупречно белых, шестьдесят героев степей, выстроенных в ряд, во всю ширину поля, ехали за трубачами, неустанно извлекавшими мелодии из своих инструментов, и за своими пожилыми предводителями.

Лица их, казалось, были вырезанными из дерева или же выкроенными из самой жесткой кожи. Желтоватый цвет лиц, жесткая складка губ на скуластых лицах, раскосые хищные глаза.

Шеренга из шестидесяти всадников подъехала к королевскому шатру. *Чопендозы* остановили лошадей и выпрямились в седле.

Слева – двадцать бело-зеленых курток.

Посередине – двадцать курток красновато-коричневого цвета.

Справа – двадцать коричневых курток с белым пятном на спине.

Каттаган.

Мазари-Шариф.

Меймене.

* * *

Как лучшего *чопендоза* своей провинции, Уроза поставили в середину команды из Меймене. Хотя и вправо, и влево от него выстроился целый частокол знакомых ему торсов, знакомых до запаха их пота в бою, Уроз, одетый в такую же жокейскую куртку, с такой же шапкой на голове, так же волнующийся, как его товарищи, все равно чувствовал себя находящимся вне команды, находящимся над ними, словно он был другой крови. Их грубое самодовольство, их удовлетворенное тщеславие не вызывали у него ничего, кроме отвращения. Как же им достаточно оказалось выехать на параде всем вместе наподобие дрессированных обезьян, и они уже возгордились! Слава, разделенная на шестьдесят человек. «Даже если бы нас было всего двое, все равно один был бы лишним», – думалось Урозу.

Король встал и, подняв руку к своему головному убору, поприветствовал всадников. Возле него, у балюстрады, стояло знамя, которое победитель, получив его из монарших рук, должен был отвезти на целый год в свою провинцию.

«Знамя будет мое», – мысленно говорил себе Уроз. Он представил себе лицо и фигуру Турсуна, осененные этим трофеем, какого еще не знала их степь.

Захир-шах сел в красное кресло. На лице Уроза появился оскал, заменявший ему улыбку. Комедия подходила к концу. Начинался первый королевский праздник *бузкаши*.

* * *

Начало было торжественным и медленным. В полной тишине, шаг за шагом, наездники медленно окружали яму, где лежала туша жертвенного животного. Когда они остановились, вокруг ямы образовалось компактное кольцо. Оно состояло из трех частей разного цвета: одна треть была бело-зеленая – команда из Каттагана, другая треть, выкрашенная в коричневый цвет, – команда из Меймене, и, наконец, еще одна, рыжая – команда из Мазари-Шарифа. На какое-то время этот огромный венчик трехмастного цветка замер.

И вдруг в воздух взметнулись плетки, взвились, словно головы бесчисленных змей, шипящих и свистящих над меховыми шапками, послышались буйные, дикие крики, слившиеся в один жуткий вопль, наполнивший все пространство над полем. Тушу козла закрыла своей массой толпа людей и животных. Никто даже и не уловил того момента, когда упорядоченное и торжественное движение превратилось в суматоху и яростный, не поддающийся описанию вихрь. Свист, нечленораздельная брань, угрозы… Нагайки хлестали по мордам лошадей, а заодно и по лицам противников… В схватке люди метались в разные стороны… Кони вставали на дыбы над спинами сбившихся в кучу людей. Приливы и отливы… Всадники, свесившись с лошади вниз головой, царапая каменистую почву руками, сбивались в кучу, стараясь добраться до обезглавленной туши, схватить ее за мохнатый бок и, вырвавшись из окружения, ускакать с добычей. Но стоило одному из них добраться до туши, как другие руки, не менее сильные и ловкие, не менее хищные вырывали ее. Так несчастный козел переходил из рук в руки, взлетая над шеями лошадей и перед их мордами, пролетая под их животами, снова и снова падая на землю. И тогда, словно из недр кипящей волны, возникал новый поток конских крупов, грив и голов, устремлялся к центру, превращаясь в настоящий вал с новыми всадниками, и новые плети хлестали направо и налево по крупам, по головам, по спинам. Вал нарастал, превращался в водоворот и уступал место следующей волне, накатывающейся извне.

Только один всадник с белым знаком провинции Меймене на спине не участвовал в этой безумной схватке. Он все время был рядом с дерущимися на самой кромке водоворота, но не давал втянуть себя в вихрь яростных схваток.

«Тут они еще злее и безумнее, чем у нас, – думал Уроз, наблюдая своими жестокими и коварными глазами за атаками *чопендозов.* – Ведь и здесь, как и там, это безумие – лишь напрасная трата сил. Ведь того, кто вырвется с козлом, тут же настигнут другие».

Уроз заставил своего Джехола попятиться назад. Водоворот как раз двинулся в их сторону.

«И ведь все они понимают это не хуже меня», – мысленно говорил себе Уроз.

Он внимательно следил за ударами и вибрацией тел, за наскоками и откатами, за приливами и отливами массы дерущихся всадников, попавших в ловушку и теряющих голову в этой драке, запах которой, смешивающийся с запахом пыли, становился все более острым, все более крепким.

И тут Уроз подумал:

«Я ошибался. Они уже ничего не понимают».

Парадная одежда уже была испачкана потом, пеной, кровью. А лица всадников, на миг возникавшие между людскими плечами и конскими гривами коней, измазанные глиной, исполосованные нагайками были похожи на растянутые маски с застывшим на них выражением боли и одновременно счастья, и на них уже было невозможно прочитать больше ничего, кроме инстинкта насилия.

И еще Урозу подумалось:

«Они играют ради игры… А я – ради выигрыша…»

И тут же резким движением удержал Джехола, бросившегося было вперед. Конь встряхнул головой. Уроз медленно погладил ему шею. И сказал вполголоса:

– О, Джехол, тебе тоже хочется поиграть… Еще рано… Учись сохранять силы для единственного броска, для победы. Это трудно истинному бойцу… По себе знаю…

Уроз продолжал следить за всеми перипетиями не утихающей схватки. В памяти его всплывали иные бои, те, в которых участвовал совсем молоденький юноша в простой чалме, ибо он еще не имел тогда права на шапку *чопендоза* и превосходил своей горячностью и напористостью всех остальных.

– Я тоже когда-то был таким, о мой Джехол, – сказал Уроз своему жеребцу.

На какую-то долю секунды он вновь ощутил, с тоской вспомнив о ней, ту грубую прежнюю ярость, ту варварскую радость, которые передаются от бойца к бойцу даже без видимой причины и объекта для нападения и зажигают огонь в крови мужчин.

И опять Джехол устремился вперед. Уроз осадил его так круто, что жеребец взмыл на дыбы и громко заржал. Безжалостная гримаса опять исказила скуластое лицо Уроза. Участвовать в игре *бузкаши* по-умному его учили не уздечка и не удила, а уроки Турсуна.

«Когда Аллах не дает силу рукам и плечам, он рассчитывает на мозг всадника».

Сказанные давно, эти слова перекрывали шум дикой суматохи. А низкий голос Турсуна с его обидной интонацией добавляли, как и в былые времена, к сказанным словам еще и слова невысказанные, подразумеваемые.

«Эх ты, заморыш несчастный, ты только посмотри на мое тело. А теперь посмотри на свое. Зачем ты пытаешься играть по моим правилам?»

Невыносимое унижение. Но и полезное.

– Я понял, я все тогда понял, – сказал Уроз непонятно кому: жеребцу, самому себе или отцу.

Тут на него стал надвигаться новый вихрь обезумевших людей и лошадей. И снова он заставил Джехола отступить. А слова все искали выхода:

– Это было труднее перенести, чем дать себя растоптать, раздавить, растерзать… как вот они сейчас…

Уроз глубоко вдохнул горный воздух, впервые смешавшийся с запахом пота, кожи, ранений, с запахом *бузкаши.* Вспомнил он и презрительный смех, каким награждали его поначалу за упорное нежелание вступать в стадную драку. Он отдалился, берег свои мускулы и дыхание и подкарауливал, как волк, как коршун, удобный момент, подкарауливал одинокого всадника, оказавшегося близко к цели, и тогда с нерастраченными силами, на отдохнувшем коне, со спокойными нервами нападал, отнимал добычу и выигрывал, выигрывал, выигрывал. Выигрывал всегда. Выигрывал везде. Те, кто смеялся и оскорблял его, давным-давно умолкли. А его осторожность принесла ему славу.

Но тут колени Уроза резко сдавили бока жеребца. Веки на ни на секунду не ослабевающих свое внимание глазах дрогнули. Схватка переместилась ближе к трибунам.

«Сегодня они, похоже, прочно тут завязли, – подумал Уроз. – Разъярились, наверное, еще и от присутствия короля».

И тотчас подумал:

«А ведь он и сейчас на меня смотрит, смотрит и видит, что я в сторонке держусь, в укрытии, как пес какой-нибудь трусливый, робеющий перед этой сворой. У нас в Меймене, в Мазари-Шарифе, в Каттагане все бы поняли. Там меня знают, знают, что я собой представляю. А здесь – кто такой Уроз для этих принцев, для короля, для знати, для иностранных господ из заморских стран? Трусишка и только».

Рука Уроза нервно сжала ручку нагайки. Стоит ударить ей, и он окажется в самом центре сражения. Он поднес плетку ко рту и впился зубами в кожу. Нет, он не поддастся ложному стыду. Он будет вести игру по своим правилам. А вот когда он сбросит в Круг справедливости добычу, ради которой дерутся эти дураки, когда из его горла вырвется крик «Халлал! Халлал!», самый прекрасный клич на свете, вот тогда и чужеземцы, и принцы, и король вынуждены будут признать его победу.

«Потерпи, потерпи! – говорил Уроз коню, хотя тот и так стоял, не шелохнувшись. – Сейчас кто-то из них вырвется, я уже чувствую».

Через несколько секунд ему показалось, что это наконец произошло.

В середине схватки появился всадник на вздыбившемся коне, державший над гривой своего коня тушу козла, из которой уже вылилась половина крови вместе с остальным содержимым. Его сразу окружили человек двадцать дико орущих безумцев с искаженными от ярости

лицами, с руками, протянутыми, как гигантские клещи. Но державший тушу всадник был так высок, а конь его так монументален, что остальным никак не удалось дотянуться до добычи. Они стегали его, били великана рукоятками нагаек по лицу, по запястьям, но все было тщетно. Это был Максуд, сам «грозный» Максуд, известный среди *чопендозов* Мазари-Шарифа своей легендарной силой, огромным ростом, богатством и отличными скакунами.

«Максуд не отпустит, Максуд выскочит!» – подумал Уроз неожиданно для себя – настолько тяжело далось ему ожидание – и пожелал успеха самому ненавистному противнику, сыну богача, чье имя он ненавидел пуще всего на свете.

Он про себя давал ему советы, указания, руководил им:

«Давай, давай, Максуд, ну, бей же левой… Ты же так силен, что должен сбросить этих двоих, которые на тебя насели. А потом отпусти коня. И опять бей. И скачи, пробей кольцо, вырвись и скачи! Давай, Максуд, давай!»

Всаднику-великану, слишком медлительному, слишком тяжелому, не хватило всего лишь одного мгновения, чтобы осуществить маневр. И этим опозданием воспользовались обезумевшие противники. На руках его повисли десять рук, столько же вцепились в уздечку и в гриву его коня. Под их весом Максуд осел до их уровня и исчез из поля зрения.

«Поросенок несчастный! Осел безмозглый, теперь все надо начинать сначала», – проворчал Уроз. И подумал: «Эх, Турсун бы на твоем месте…»

И он представил себе отца, – таким, каким видел его много раз, – вознесшимся над кучей голов в меховых шапках, над буйно мечущимися гривами и разбушевавшимися плетками с презрительной усмешкой на устах, с зажатой в кулаке обезглавленной тушей, всегда умевшим вырваться из окружения. Сердце Уроза наполнилось застарелым жгучим восхищением. И невыносимым страданием – быть сыном Турсуна и не иметь возможности сравниться с ним. Тут Уроз мысленно сказал себе:

«Да, но у него всегда был Джехол».

И тут же возразил себе:

«Так ведь сегодня и у меня тоже есть Джехол. Ну…»

Сам того не замечая, он осадил жеребца раз, другой. Напрягши спину и колени, незаметно для самого себя пригнулся к гриве. Глаза его сузились и превратились в едва заметную щелку, чтобы лучше видеть темную мохнатую массу, переходившую из рук в руки, то между крупами лошадей, то между их головами, а то и под их животами.

Одинокий вопль Уроза, высокий и долгий, как вой вышедшего на охоту волка, внезапно разрезал общий шум. Подстегнутый хлыстом и шпорами, Джехол ворвался в кучу дерущихся. Никто из *чопендозов* не ожидал нападения сзади, да еще такого мощного и внезапного. Уроз сразу прорвал их кольцо и благодаря правильному расчету оказался рядом с обезглавленной тушей. Он схватил ее на лету, вырвал из чьих-то рук, поднял Джехола на дыбы, заставил повернуться и через не заполнившуюся еще брешь вырвался и поскакал.

И тотчас сзади послышался галоп погони. И Уроз понял, что как ни стремителен Джехол, его все равно догонят. Иначе и быть не могло. Даже если бы он первым доскакал до мачты, вокруг которой должна объехать туша козла, на обратном пути его неминуемо должны были встретить другие всадники. К чему тогда тратить силы в ненужной глупой гонке? Он только что проявил перед всеми свои бойцовские качества. Хватит. Сейчас надо было замедлить галоп, отделаться от туши, изобразив борьбу за нее, а потом опять занять выгодную позицию в ожидании удобного момента. Так победа была бы обеспечена. Но в Урозе проснулась другая страсть, более сильная и древняя. На протяжении двадцати лет обучения он старался смирить ее и, казалось, смирил навсегда. Но тут, дав ей на минуту волю, он почувствовал себя камнем, выпущенным пращой и летящим незнамо куда, – молодая сила несла его прямо перед собой. Вместо того, чтобы придержать Джехола и предоставить другим драться за тушу козла, изматы-

вать силы и ранить друг друга, Уроз, закусив плетку, прижав теплую тушу к седлу, подгонял жеребца коленями, шпорами и голосом, разделяя его нетерпение и наслаждение от скачки.

Какое это счастье – избавиться от тисков неторопливого расчета, терпеливого, осторожного ожидания и отдаться горячей энергии бушующей крови, мускулов, нервов, стать яростной скоростью, необузданной страстью.

– Давай, Джехол, скачи, мой принц, скачи же, мой король!.. Мы самые быстрые, мы самые сильные!

Так кричал, так пел Уроз совсем не своим голосом, а голосом заговорившего в нем, овладевшего им всемогущего демона.

И Джехол первым пришел к мачте. Далеко отстали даже *чопендозы* из Каттагана, более низкорослые и более легкие, чем мужчины из Мазари-Шарифа и Меймене, сидящие верхом на лошадях более быстрых и проворных, одетые в белые куртки в зеленую полоску, они были похожи издали на рой ос. Даже самые стремительные из них следовали за Урозом на значительном расстоянии. А он обогнул мачту и потряс, будто знаменем, тушей, чтобы распорядители *бузкаши* всех трех провинций и уполномоченный короля, и вся толпа убедились, что обезглавленный козел преодолел первый этап. Затем Уроз вновь прижал тушу к бедру и устремился на запад, ко второй мачте, до которой было добрых четыре километра.

Тут Уроз увидел едущих навстречу ему всадников, решивших не тратить понапрасну силы на преследование, а перехватить его на обратном пути. Их было человек двадцать, не меньше.

На что мог надеяться Уроз, пытаясь пробиться сквозь свору, готовую вот-вот наброситься на него? Но он все же попытался. Как если бы окровавленная туша, мягкая и мокрая, прижатая к его ноге, стала вдруг ему дороже собственной жизни, для сохранения ее, этой мохнатой шкуры, из которой все еще сочились кровь, жир и внутренности, он употребил все, что он знал, все, чем он был – всю свою ловкость, свою удивительную гибкость и скорость в движениях, отлично сохранившиеся у него с молодых лет, а еще силу, пришедшую с возрастом, несравненное искусство вольтижировки, многократно осмысленный опыт, накопленный за тридцать лет участия в играх, и, наконец, тот порыв пьянящей юношеской горячности, которому он отдался сегодня. Три старых распорядителя *бузкаши,* видя это, одобрительно кивали головой и в восхищении поглаживали седые бороды. Никогда еще Уроз не играл так блестяще, да и не было на долгой их памяти, как они ее ни напрягали, другого такого удивительного наездника. Он нападал, увертывался, делал обманные движения, уклонялся от схватки, возвращался, проносился как стрела между двумя нападающими. Сбрасывал с коня одних, ускользал от других. Свесившись то на один бок коня, то на другой, то прижавшись к самой гриве, когда тот вставал на дыбы, то исчезая под животом жеребца, он не боялся наскоков, разгадывал хитрости противников и, по-прежнему не выпуская тушу, продвигался вперед. Джехол великолепно помогал ему. Не только скоростью и силой превосходил он лучших коней, но еще больше – интуицией и умением. Он не просто выполнял каждое желание, каждый приказ хозяина. Он постоянно делал все лучше, чем смел надеяться Уроз. Обнаруживал большую силу и большую ловкость и в нападении, и в уклонении от схватки в хитром обмане и в неожиданном повороте. Мало того, иногда даже казалось, что коню недостаточно было просто выполнять самые трудные задачи Уроза. Или даже угадывать, предвосхищать их. Он сам придумывал трюки. Он играл для себя и собой. И инстинкт никогда не подводил его.

«Ты великий *чопендоз,* о Джехол», – думал в такие минуты Уроз.

Но уловки, хотя и позволяли увернуться от нападавших, заставляли снижать скорость, менять направление. Многие всадники были уже рядом и готовились вступить в борьбу за добычу.

Уроз слышал со всех сторон близкие голоса и дыхание противников. Надо было срочно что-то предпринимать.

Кто почувствовал слабое место в подвижном кольце всадников, загораживающих путь вперед, кто выбрал участок, охранявшийся только двумя противниками, к тому же наименее опасными? Уроз? Джехол? Оба одновременно? Уроз не приказывал коню.

Навстречу им скакали два всадника, но не в лоб, так как их кони не смогли бы остановить, не смогли бы выдержать атаку слишком сильного для них, слишком скорого коня, а навстречу, с двух сторон, так, чтобы схватить Уроза и Джехола каждый со своей стороны, чтобы зацепиться за них. Они встретили свою добычу одновременно, встретили ее с громким победным улюлюканьем. И тогда Джехол встал на дыбы, заржал и, повернув голову налево, укусил противника за руку, а Уроз, почти отделившись от коня, встал в стременах и ударил рукоятью плети другого *чопендоза* в грудь так сильно, что выбил его из седла.

«Все же я пронесу козла за вторую мачту», – подумал Уроз.

Тем временем вокруг него образовалась плотная стена из мускулистых тел. Подняв глаза, Уроз увидел вдруг где-то высоко над собой глаза Максуда Грозного, увидел узкие щелки на таком плоском лице, что оно казалось недоделанным. И в глазах Максуда, знавшего, с каким презрением относится к нему Уроз, читалась дикая радость человека, готового вот-вот утолить свою ненависть. И прежде чем Джехол успел увернуться от вставшего перед ним коня, равного ему по силе и весу, Максуд схватил Уроза за шею, поднял его, будто какого-нибудь щенка, из седла и, схватив свободной рукой тушу козла, закричал:

– Ага, решился, наконец, играть, как все! Так на же тебе, несчастный недоносок!

Великан сбросил Уроза с коня, пришпорил коня и понесся галопом к мачте. Опустошенный, одураченный, ничего не соображающий, смотрел Уроз вслед Максуду. Щеки его коснулась грива. Влажные глаза Джехола, сверкающие от нетерпения, глядели на него. Уроз встрепенулся. Он был сброшен – да еще как! – с такого коня. Его посрамили в глазах его верного друга… И еще более горькая мысль пронеслась у него в голове… Никогда Турсун…

Одним прыжком легкий, как в самые юные свои годы, Уроз оказался в седле. Шпоры вонзились в бока Джехола. И плетка тоже добавила коню прыти. Он мчался теперь уже не за козлом, за головой Максуда.

Великан был еще не слишком далеко. Ему пришлось отбиться от трех всадников из Каттагана, один за другим подскочивших к нему. Все они были маленького роста и легкие, но горячие и напористые. Так что каждая стычка хоть ненадолго, но задержала Максуда. Теперь он мчался прямо на запад. И Уроз был уверен, что догонит его.

Джехол был не слабее той лошади, а по скорости превосходил ее, да и весил Уроз вдвое меньше Максуда, причем он, как никто среди степняков, умел извлечь из своего коня все, на что тот был способен. Он быстро обогнал остальных преследователей и вздохнул с облегчением. В стычке с Максудом им нужно было остаться один на один. Другие люди и кони могли бы помешать в свалке, могли притушить его ярость и жажду крови… Вот это ему удалось… Больше никого, только он и Максуд… А расстояние все уменьшалось и уменьшалось…

Внезапно ему захотелось придержать Джехола и отказаться от погони. Что он станет делать, догнав Максуда? Убьет его? Но как? Что могут его руки и плетка против гиганта из Мазари-Шарифа? Эх, был бы у него нож, как в прошлые безжалостные времена, когда разрешалось резать поводья и подпруги!

Но Джехол все ускорял и ускорял свой галоп. Цель приближалась. Он опять играл в свою игру. И губы Уроза вновь скривились в волчьем оскале. Джехол был его лучшим оружием. А он об этом и не подумал. Все сделал за него инстинкт. С правой стороны, там, где находился Максуд, он освободил ногу, привстал в седле, слез с него и, держась на одном стремени, вцепившись в гриву, прижавшись вплотную к левому боку Джехола, закричал прямо в ухо жеребцу, испустил дикий-дикий, безумный вопль. Джехол сделал огромный скачок. А Уроз все вопил и вопил, вопил, не останавливаясь. При этом он направлял своего коня так, чтобы тот плечом, словно ядром, толкнул лошадь Максуда со всего размаха прямо в шею.

«Он упадет, а вместе с ним и Максуд, после чего эта гора мускулов окажется растоптанной до смерти, будет растерзана, размазана копытами по земле».

Так думал Уроз, и крики его прямо в ухо Джехола становились все более пронзительными.

Максуд услышал его, он оглянулся и пришел в ужас… С расширенными ноздрями и дико выпученными глазами мчался на него взбешенный неистовый зверь без всадника, несущийся сам по себе, один, несомый неведомой, родившейся из ярости силой… Чтобы хоть как-то смягчить удар, Максуд вытянул в его сторону руку с тушей козла. Рука эта была так могуча и так напряжена, что смогла изменить направление бега Джехола. На какое-то мгновение. Но в эту же секунду Уроз привстал над седлом и ударом сапога с острым каблуком переломил Максуду запястье.

Пальцы разжались. Туша козла выпала из них. Уроз на лету подхватил ее и поскакал дальше, пока Максуд, оставшийся позади, разглядывал непослушную руку, странно торчащую, изогнутую под каким-то необычным углом.

* * *

Уроз пронес свой трофей и вокруг второй мачты. И снова впереди оказалась целая свора *чопендозов.* На этот раз тут собрались все, кроме раненых, чьи лошади, громко окликаемые конюхами, бродили по полю. Все сжигаемые страстью, страстью, достигавшей верхнего предела ярости. Страсть эту подстегивало понимание того, что игра вступила в последнюю фазу. Теперь тот, кто владел тушей козла, мог стать, если ему хватит силы, ловкости и удачливости, если он сумеет так или иначе домчаться до Круга справедливости, победителем Королевского *бузкаши.*

И свалка возобновилась, такая же, как в самом начале игры. Опять тушу перехватывали друг у друга всадники на вздыбленных лошадях, опять поднялся вихрь грив, шапок и плеток, и лица, взмокшие от пота, опять принимали на себя удары нагаек со свинцовыми грузилами на концах. И опять один из всадников вырвался вперед. Но это был не Уроз. А он вместе со всеми остальными, кинулся в погоню. Как все остальные, он догонял, дрался, нападал. Туша то оказывалась в его руке, то уходила от него и снова возвращалась, и снова уходила. Но это уже не имело для него значения. Ему хотелось теперь только одного: бить и хлестать, без конца бить и хлестать.

Погоня и отход, обманные выпады, удары сбоку, стычки один на один и групповые потасовки, и движение вперед вместе с кричащей толпой, постепенно приближавшейся к белому кругу, отмеченному известкой. Блестя на солнце, он был уже в поле зрения дерущихся. В этот момент трофей находился в руках *чопендоза* из Меймене. Он пытался вырваться из окружения. Рядом с ним оказался всадник из Каттагана, который вырвал тушу козла и помчался вперед. Еще немного, и он бы оказался возле Круга справедливости. Но дорогу ему случайно преградила лошадь без всадника, что заставило каттаганца сделать крюк и потерять, таким образом, несколько секунд. А когда он вышел напрямую, на его пути уже возникло препятствие из дюжины *чопендозов.* Он видел и слышал, как его окружают. Но не мог же он допустить этого у самой цели. Он повернул к трибунам и помчался к ним. Остальные бросились за ним. Как от них уйти? Перескочить ров, отделяющий трибуны от поля? Почетные гости настолько явственно увидели это желание в широко раскрытых от ужаса глазах всадника, что невольно отпрянули назад. Однако в последний момент всадник в полосатой бело-зеленой куртке осознал, что ров слишком широк, что надежды на спасение там нет, что в лучшем случае он просто разобьется о бетонный бруствер. И тогда он свернул вбок, поскакал вдоль трибун, а все *чопендозы* — за ним. Скорость гонки, азарт, написанный на лицах, крики наездников ни у

кого не оставляли сомнения в том, что ради своей истерзанной, жалкой козлиной шкуры эти степные всадники, если бы могли, не задумываясь, растоптали бы и самого короля.

Доскакав до края трибун, *чопендоз* оказался перед стеной из грузовиков, заполненных зрителями в развевающихся на ветру чалмах. Для каттаганца оставалось два выхода: слева – тяжелые грузовики, то есть, рано или поздно, – тупик, справа – узкий и короткий проход на кабульскую дорогу. Туда он и кинулся. Там стояли машины королевского эскорта. Каттаганец проскакал между ними и оказался перед склоном холма, сплошь усеянным людьми, буквально забитым густой толпой с палатками, с лотками, с огромными медными самоварами.

Чопендоз не стал раздумывать. Удар шпорами, свист плетки, – и лошадь врезалась в толпу. Те, кто скакал за ним, поступили так же. Склон холма вмиг опустел. За всадниками остался след из поваленных прилавков с фруктами, самоваров, шапок, тюрбанов и брошенной обуви. Толпа, спасаясь от лошадей, давила и топтала тех, кто стоял сзади и кого не задели лошади. Над холмом во все стороны разносились крики испуга и дикое улюлюканье, нечто похожее на стенания земли и скал.

Неужели ему удалось израсходовать всю свою дикую ярость? Или же он увидел и узнал скульптурное лицо человека в красном кресле? Так или иначе, но перед королевской трибуной Уроз внезапно пришел в себя.

Умелым движением руки он придержал Джехола, и когда толпа *чопендозов* устремилась в проход, ведущий к холму, он за ними не последовал.

А там, на холме, крики перепуганной толпы не стихали. Уроз поехал в сторону. В создавшейся неразберихе уже ни у кого не было никаких шансов догнать каттаганца. Уроз решил поджидать его у подошвы холма, вблизи трибун для почетных гостей, рядом со рвом и защищающим их ограждением.

Тот, кто владел сейчас тушей козла, должен был неминуемо проехать мимо него, на расстоянии протянутой руки, чтобы добраться до сверкающего рядом на солнце мелового круга.

Поблизости никого не было, если не считать одинокого наездника огромного роста, Максуда, с рукой на красной перевязи, бесцельно, теперь уже в качестве зрителя, прогуливающегося на коне взад и вперед.

«Бывший Грозный», – равнодушно подумал Уроз.

Он вернулся в свое нормальное состояние. Окружающие теперь снова были для него лишь фигурами в игре. Наклонившись к гриве Джехола, он погладил его, чтобы тот был готов к нападению.

Все произошло, как он и предполагал. Каттаганец вернулся на кабульскую дорогу, одним скачком пересек ее и кинулся к проходу. Уроз выскочил из засады и, прежде чем тот сообразил, кто нападает и откуда, прежде, чем первый из преследующих его всадников успел подскочить, плечо Джехола мощно ударило коня каттаганца. Сидевшему на нем человеку в полосатой куртке едва удалось удержаться в седле. Но еще прежде Уроз схватил трофей и один устремился к цели. Достиг ее, остановился у сверкающего Круга справедливости, высоко поднял руку с остатками туши. Замахнулся, чтобы швырнуть ее, и набрал воздуха для победного крика «Халлал!»… Однако тут в густую шерсть козлиной туши вцепилась огромная рука, здоровая рука Максуда. Помешать Урозу бросить добычу в цель тот не мог, но зато ему удалось как бы присоединиться к его движению и вместе с ним швырнуть тушу в центр круга. На мгновение все затихли в растерянности. А потом *чопендозы* Меймене и Мазари-Шарифа в едином порыве повернули взмыленных, почерневших от пота, белых от пены коней к королевской трибуне. И сорок глоток стали хором кричать, кричать поверх бетонного рва. В руках их свистели плетки. И те, кто был в рыжих куртках, и те, у кого на спине была белая метка в форме звезды, одинаково неистово требовали, чтобы победа была присуждена именно им.

– Мы победили, – надрывались *чопендозы* из Меймене. – Мазарец лишь прикоснулся к туше в самый последний момент. Вор, собака! Стыд, позор!

– Наглая ложь! – кричали те, кто приехал из Мазари-Шарифа. – Козла держал в своей руке Грозный. И швырнул его он!

Те и другие размахивали плетками, и убеленные сединами распорядители *бузкаши* не без опаски поглядывали на них. Пыль от топчущихся на месте коней клубилась над королевской трибуной. Сквозь пыль монарх видел грубые, искаженные ненавистью, обезображенные конвульсиями и ранами лица, лица, похожие на отвратительные маски, заляпанные грязью и кровью, орущие ругательства и проклятия.

Король поднял руку, и наступила тишина. И он сказал:

– По закону справедливости надо разделить успех пополам. Половина победы принадлежит Меймене, а половина – Мазари-Шарифу. И начать игру сначала.

* * *

Чопендозы получили передышку. Понадобилось некоторое время, чтобы забить другого козла и отрезать ему голову. Самые богатые из всадников воспользовались паузой, чтобы поменять коней. Кое-кто утолял жажду, жадно вгрызаясь в большие ломти арбузов, которые им протягивали их *саисы,* или ощипывая кисти винограда. Кто-то прилег, не выпуская, однако, из рук уздечек, кто-то покуривал с приятелями. Распорядители *бузкаши,* сидя в седлах, уговаривали земляков не играть, как они только что делали, каждый за себя, а отстаивать командой честь родного куска степи.

Уроз, верхом на Джехоле, стоял в стороне, а Мокки тем временем обтирал коня соломенным жгутом. Взгляд Уроза был направлен в сторону снежных горных вершин. Там далеко-далеко за ними находилось имение Осман-бая. Справедливо ли было решение короля? Не так уж важно! Оно все равно не помешает ему привезти и воткнуть в землю перед Турсуном королевское знамя.

Мимо прошли двое солдат, волоча за собой обезглавленную тушу козла.

* * *

Туша уже побывала у обеих мачт. И вот теперь битва за нее разгорелась примерно в полутора тысячах футов от цели. Всадник, которому удалось бы вырваться с добычей отсюда, реально мог надеяться на успех.

Уроз следил за схваткой на небольшом, точно рассчитанном расстоянии. Он играл упорнее, чем обычно. Хотя при этом старался не слишком рисковать: отнимал козла у игроков-одиночек, а когда его догоняли, не стремился удержать его во что бы то ни стало. Но сейчас он чувствовал, как во всем его теле, от стремян до уздечки, зарождается нечто вроде холодной лихорадки – именно в этом состоянии он был всегда особенно опасен.

В поле зрения Уроза был и кишлак с розово-голубыми домами в северной части плато, и холмы на юге, пестрые от развевающихся на ветру одеяний зрителей, и трибуны, где сидел Захир-шах в окружении гостей, солдат и полицейских, в окружении пеших и конных людей в военной форме. И еще видел Уроз чистое легкое небо над горами, за которыми солнце заканчивало свой бег раньше, чем там у него в долине. Вместе с тем он ни на секунду не терял из виду главного. Именно сейчас начиналась самая горячая схватка дня. Все *чопендозы* понимали, что, скорее всего, это будет последняя и решающая битва.

Как это не раз с ним случалось, Уроз и сейчас мысленно спрашивал себя, почему эти схватки не длятся бесконечно. В копошащейся массе плеч, спин, голов все противники друг друга стоят, и лошади их – тоже. И все же всегда кто-нибудь из них, один из них, нырнув куда-то вниз или в сторону, вдруг выхватывал мохнатую тушу, возвращался в седло, вырывался из кольца и галопом уносился прочь. Кому это удастся на этот раз?

Уроз решил, что даже если удача улыбнется кому-нибудь из его команды, он все равно не даст ему победить. Сегодня, считал он, никто, кроме него, не имел права крикнуть священное: «Халлал! Халлал!»

Но вот толпа дерущихся, которая, казалось, навсегда запуталась в самой себе, вдруг распалась, и из нее вырвался один боец, который стал прокладывать себе дорогу, кидая коня то влево, то вправо, изо всех сил работая плеткой. Использовав удивительный по ловкости и скорости финт, он миновал последний ряд всадников, отделявший его от свободного пространства. Он несся стремительно, прижимаясь корпусом к левому боку лошади, защищавшей его от преследователей, а свободной рукой тащил по земле мохнатую тушу. Вырвавшись на свободное пространство, отделявшее его от цели, он с пронзительным победным криком направил туда своего коня.

Урозу оказалось достаточно отпустить поводья. Отдохнувший Джехол сгорал от нетерпения. Сутолока схватки, от участия в которой хозяин удержал его и на этот раз, а также резкие запахи горячили ему кровь. Он резко рванулся вперед.

Всадник из Мазари-Шарифа беспощадно гнал свою лошадь. Ведь цель была так близка. Но тщетно. Крупный жеребец скакал гораздо быстрее. Несколько скачков, и Джехол догнал его. Несколько секунд они мчались бок о бок.

И тут Уроз смог, наконец, осуществить тот маневр, к которому готовился с начала игры, самый трудный, но в то же время самый красивый прием *бузкаши.* В самый разгар скачки он откинулся вбок, держась – чудо эквилибристики – лишь одной ногой в стремени, и секунду висел в воздухе, вытянув руки вперед. Расчет оказался верным. Руки его коснулись туши, вцепились в нее, а инерция броска, удвоив их силу, помогла ему выхватить, вырвать трофей.

Оставалось только вернуться в седло с этой ношей и доскакать до цели. Подобное восстановление равновесия не представляло для бывалого *чопендоза* никакой трудности. А ведь Уроз к тому же считался лучшим из лучших.

Однако когда он стал выпрямлять корпус, то почувствовал вдруг, что мышцы ему не повинуются, что он неловко, беспомощно болтался, не в силах что-либо сделать. Уроз не сразу понял, что случилось. Им овладело какое-то тупое удивление, когда он понял, что волочится по земле, что лицо его исцарапано колючками, а сам он тянется за конем, как мешок… Нога при этом еще оставалась в стремени. Достаточно было бы опереться на нее, схватить Джехола за гриву и подтянуться. Но между ступней и коленом не было никакой связи, никакого контакта. Значит, случилось что-то более серьезное, чем растяжение, чем вывих, чем повреждение связок или мышц. Уроз не раз испытывал подобные неприятности, что не мешало ему тут же вскакивать в седло и побеждать в гонке. Так что же сейчас? Как? И почему?

Урозу было некогда раздумывать. Джехол резко остановился, и ступня выпала из стремени.

В ту же секунду в самой черепной коробке Уроза, как ему показалось, раздался топот копыт десятков коней, и поднялась буря диких криков. Команды из Каттагана, Меймене и Мазари-Шарифа кинулись все вместе к туше, которую он все еще продолжал держать в руке.

«Сейчас меня растопчут и раздавят, – подумалось ему. – Превратят в такую же вот тушу, в какую превратился этот козел». Но выпустить добычу ему и в голову не приходило. Он не испытывал страха. Он не боялся ничего, и уж тем более смерти. «Ну, все, конец», – мелькнуло у него в голове. И еще он подумал: «Это напомнит Турсуну те времена, которыми он так гордился, времена, когда не проходило ни одного настоящего *бузкаши* без гибели хотя бы одного *чопендоза».*

С безумным улюлюканьем налетела на Уроза орда. Но достать его не могла. Джехол встал над ним, упершись в землю могучими трепещущими ногами, как живыми колоннами. Встал и всем туловищем, выдвинутой вперед грудью, копытами, зубами защищал хозяина. А Уроз прижимал к себе шкуру козла крепче, чем когда-либо в прошлом.

Но долго продолжаться это не могло. Пальцы его были все в крови от ударов рукоятками нагаек. Руки всадников протягивались уже между ногами Джехола, хватали Уроза за пояс, за волосы, другие тянули изо всех сил за тушу. Наконец, один из *чопендозов* выхватил обескровленного, лохматого и почти уже лишенного внутренностей козла. Остальные кинулись к нему.

Только тут Уроз ощутил по-настоящему позор своего поражения и понял, что останется жив… Откуда-то послышался леденящий душу вопль сирены, которая приближалась, росла. Машина скорой помощи с флажком Красного Полумесяца подобрала *чопендоза* и повезла его в больницу…

А от Круга справедливости донесся хриплый, опьяненный победой крик:

– Халлал! Халлал!

В ярости Уроз изо всех сил ударил кулаком по переломанной ноге, чтобы боль физическая заглушила мучительную мысль о поражении.

* * *

Больница находилась на окраине Кабула в большом парке, где было много цветов. Оборудована она была хорошо. Уроза встретили как нельзя более приветливо. Ведь король объявил, что *чопендозы* — его гости.

В операционной дежурный хирург, молодой афганец, учившийся у французских профессоров в Кабульском университете, сказал Урозу, что немедленно вправит большую берцовую кость в месте перелома и наложит гипс.

– Скоро нога твоя будет в полном порядке, – сказал он.

Уроз ничего не отвечал, ничего не понимал и ни во что больше уже не верил. В его сознании не осталось места ни для чего другого, кроме чувства стыда. Стыда, не имеющего названия, стыда безмерного.

Скорая помощь, манипуляции санитаров, – в степи никто и никогда не позволил бы себе обращаться с ним таким образом. Там, обхватив рукой шею товарища, он доковылял бы до лошади на одной ноге и вернулся бы домой, в свою юрту, как мужчина, в седле. Потом пришел бы костоправ, одетый, как все, в *чапане* на плечах, или же знахарь с магическими заклинаниями, и все было бы сделано втайне, как подобает. А тут он лежал на железной койке какой-то немыслимой формы, а за него все решал, как за глупого младенца, какой-то парень в белом халате. Причем – верх позора – его раздела какая-то иностранка, и она же побрила ему волосы на раненой ноге. Боль от операции просто не шла в счет по сравнению с этим бесчестием.

Затем его отвезли в огромную палату с отвратительным запахом, где лежало полно несчастных больных, и все они смотрели, как его везли к кровати. Хорошо еще, что стояла она в углу, возле приоткрытого окна, откуда доходил свежий вечерний воздух из парка, напоенный запахами цветов. Из уважения к *чопендозу* для него специально освободили эту койку, переведя лежавшего на ней больного в другую палату.

Теперь у Уроза было время поразмыслить о своем несчастье. Ни на секунду ему не приходила в голову мысль, что все произошло по его вине. Для *чопендоза* такого ранга это было немыслимо. Тогда по воле случая? Для Уроза случая не существовало.

Все, что ускользало от его воли и понимания, всегда происходило из-за происков каких-нибудь духов, демонов, таинственных сил, очень хитрых и мстительных. Но чем он заслужил сегодня их гнев? Ненароком воспользовался левой рукой, совершая омовение? Забыл в какой-нибудь решающий момент прикоснуться к старому кожаному мешочку с травой везения, висящему на шее у Джехола, как и у всех его предшественников? Как ни старался Уроз, он не мог вспомнить ни единого дурного поступка. Значит, сглаз, наведенный кем-нибудь из недругов, но кем? Кто этот завистник?

А тут еще, сделав резкое движение, Уроз ощутил какую-то странную тяжесть на левой ноге. Он приподнял одеяло, приподнял простыню, увидел на ноге гипс и пришел в ужас. Худшего предзнаменования нельзя себе и представить на теле живого человека. Маленький гробик! С каким сожалением, любовью, с какой призывной мольбой подумал Уроз о мазях, о бальзамах и травах, о змеиной коже, настоянной на молоке кобылицы, о волчьих клыках и скорпионовых жалах, растертых в тонкий порошок и хранимых в бараньем роге, – обо всех тех безотказных снадобьях, которые извлекал из своей сумки с соответствующими ритуальными жестами и заговорами знахарь с луноподобным лицом, лечивший *чопендозов* в Меймене.

Эти люди в Кабуле, что они, все сумасшедшие или же все настроены против него и хотят его погубить? Губы Уроза сделались сухими-сухими и горели от жара, а лоб и волосы взмокли от охватившей его тревоги.

Он резко опустил одеяло и простыню. К нему приближалась женщина-иностранка, которая брила ему ногу. Она была высокого роста, сильная, еще молодая, и лицо ее лучилось спокойной чувственной радостью. От этого ненависть Уроза к ней усилилась еще больше. С трудом подбирая слова, она обратилась к нему по-афгански. Но он ничего не понял. Тогда сосед по койке, кабульский лицеист, перевел ему. Несмотря на поздний час, в знак особого к нему уважения, Урозу разрешили принять посетителя.

По залу шел Мокки, смущаясь от стольких обращенных на него взоров и вобрав голову в плечи, чтобы хоть как-то уменьшить свой рост. Но, подойдя к Урозу и отвернувшись от остальных, *саис* выпрямился, и плоское лицо его расплылось в улыбке до ушей.

– Мне сказали, что Пророк уберег тебя и что скоро ты станешь таким же, как прежде, – сказал он.

И, не переводя дыхания, добавил:

– Джехол стоит в конюшне, он напоен, накормлен и перевязан. Подстилка хорошая. Овес хороший. Почти как у нас.

– А кто крикнул «Халлал»? – резко спросил Уроз. – Мазар или Каттаган?

По залу раскатился громкий смех Мокки.

– Замолчи, сын осла, – обругал его Уроз. – Чего ты расхохотался?

– Королевский *бузкаши* выиграл не мазариец и не каттаганец, нет, как бы не так, выиграл наш. Ты рад?

Уроз только зубы сжал. Это было хуже всего. Его команда смогла победить без него.

– Кто?

– Салех!

– Как Салех? Его же конь был на последнем издыхании.

Мокки поднял к потолку одну из своих огромных рук и воскликнул:

– Аллах вразумил его. Джехол ведь оказался без всадника. И он вскочил на него.

Все тело Уроза судорожно сжалось. Он вновь почувствовал тяжесть гипса на ноге. Итак, его же собственный конь еще и поспособствовал бесчестию хозяина. И он ничего не мог возразить: товарищ по команде всегда мог воспользоваться более свежим конем, если его хозяин выбывал из игры.

А Мокки все смеялся, но из уважения к Урозу теперь уже беззвучно.

– Так что ты теперь дважды благословен, – сказал он. – Меймене получает знамя короля, а Джехол с этого дня принадлежит тебе.

Поймав непонимающий взгляд Уроза, долговязый *саис* склонился над ним и шепотом сказал:

– Ведь Бешеный конь победил. Значит, он твой.

И тут Уроз вспомнил слово в слово торжественный обет, данный Турсуном перед толпой на базаре, в Даулатабаде:

«Если как то и должно быть, – сказал тогда Турсун, – мой Бешеный конь победит на Королевском *бузкаши,* то он будет принадлежать с того самого мгновения моему сыну, и только ему».

И вспомнил Уроз, как впервые в жизни испытал он признательность и нежность. Ему захотелось сплюнуть, – горечь переполнила его рот. Прекраснейший жеребец степей стал его конем. Но благодаря другому всаднику.

Опять подошла сестра. В руке ее была трубочка, поблескивавшая ртутью. Сосед по койке сказал, что это термометр, и объяснил, что ему нужно вставить его в задний проход.

– Не может быть, я ни за что не поверю, и никто на свете не заставит меня…

Поднявшись над подушкой, весь бледный, несмотря на постоянный свой желтоватый цвет лица, Уроз грозился, выкрикивал бессвязные ругательства, задыхаясь от стыда и ненависти.

– Я пришлю попозже кого-нибудь из афганцев, – пообещала в ответ сестра.

Мокки смотрел ей вслед, покачивая своей круглой головой. Он тоже был возмущен и не знал, как реагировать на такое бесстыдство. Затем он сказал Урозу:

– Салех и все наши из Меймене просят тебя извинить их за то, что они не пришли к тебе сегодня. Они сейчас на празднике, во дворце короля. Завтра ты всех их увидишь здесь.

– Нет, – грубо возразил Уроз. – Здесь я больше никого не увижу.

Хотя они разговаривали на узбекском, непонятном для кабульцев, языке, Уроз все же понизил голос и шепотом продолжал:

– В полночь подойдешь к моему окну, с Джехолом и с моей одеждой.

– Но ведь вход в больницу охраняют солдаты, – сказал Мокки.

– В карманах моего *чапана* есть деньги, – сказал Уроз. – Их там более чем достаточно, чтобы подкупить охрану. А если не согласятся, то переберись через забор и потом поможешь мне перебраться. Ты ведь у нас достаточно длинный для этого. И достаточно сильный.

– И к тому же я так хорошо понимаю, что говорит тебе твое сердце, – сказал Мокки.

* * *

Тем из больных, кому жар или боли мешали спать, довелось увидеть в ту ночь нечто странное: *чопендоз,* который лежал в углу палаты, приподнялся полуголый, доковылял на загипсованной ноге до окна, подтянулся, открыл окно, высунулся наружу и исчез.

Мокки тихонько усадил Уроза в седло. Тот взял в руки поводья. Они проехали через полуоткрытые ворота больничного парка. Сторожа в это время спокойно сидели в своем помещении.

Когда они выехали из парка, Мокки спросил:

– Как ты думаешь, они погонятся за тобой?

– Конечно, погонятся, – отвечал Уроз. – Но им ни за что меня не догнать.

Уроз остановил Джехола и сказал:

– Прежде всего, надо перебороть злосчастье. Иди-ка, принеси сюда камень.

Мокки принес огромный булыжник, из которых была сделана дорога. Уроз протянул ногу в гипсе и приказал:

– А теперь разбей этот маленький гробик!

Мокки ударил изо всех сил.

Уроза обожгла столь дикая и неожиданная боль, что он невольно так сильно дернул поводья, что конь взмыл на дыбы. Но проклятая коробка разлетелась на куски.

– В моей сумке лежит бумага, а на ней написано несколько строчек, – сказал Уроз. – Несколько строчек самого Пророка. Это один мулла из Даулатабада переписал их для меня из Корана.

Когда Мокки достал священный листок, Уроз приказал:
– Приложи его к ране и обвяжи твоим кушаком.
Что и было сделано.

Часть вторая
ИСКУШЕНИЕ

I
ЧАЙХАНА

Дорога в объезд Кабула была длинной, а для не знающих ее – еще и очень трудной. Но Уроз, хоть и спешил отъехать как можно дальше от больницы, счел, что это будет все же лучше, чем пересекать город. Ведь за несколько дней он повидал здесь столько полицейских, столько патрулей, казарм, офицеров и чиновников, что весь город представлялся ему огромной ловушкой. Он был уверен, что все эти люди получат, – если уже не получили, – приказ догнать его, арестовать и опять бросить на позорную койку, где им будет распоряжаться та бесстыжая иностранка. Мокки тоже так считал. Откуда же им, степнякам, было знать, что для сильных мира сего судьба какого-то *чопендоза,* даже очень знаменитого, не имела большого значения?

За ориентир они приняли бесконечную полуразрушенную стену, которая когда-то защищала подходы к Кабулу, то взбегая на вершины холмов, то спускаясь в овраги. Они поехали на значительном расстоянии от стены с внешней ее стороны. Уроза успокаивало то, что стена была довольно высокая. В отличие от создателей ограды, воздвигавших ее для того, чтобы обороняться от угрозы извне, для него она была защитой от города, такого огромного, слишком многолюдного и слишком шумного города, где никто в толпе ни разу даже не узнал его.

* * *

Тропинки, по которым беглецам приходилось ехать, петляли по крутым пригоркам, были все неровные, в рытвинах и осыпях. Но луна освещала местность достаточно хорошо, и Джехол ступал вполне уверенно. Когда вечные снега на знаменитых хребтах Гиндукуша окрасились розовым цветом зари, Мокки, оглянувшись, уже не увидел отрогов древней стены.

– Кабул остался далеко позади, – заметил он.

– Мы не теряли даром времени, – согласился Уроз.

– Что за конь! – воскликнул Мокки.

И грубой своей огромной ладонью он на удивление нежно погладил жеребца по шерсти. Джехол ответил ему веселым ржанием. *Саис* рассмеялся своим громким нескончаемым смехом. На этот раз и Уроз тоже почувствовал в своей груди отзвук этого смеха. Заря, перемещающаяся от вершины к вершине, как бы подтверждала: да, ему удалось перебороть свое ранение, свое поражение, свой позор, больницу и только что прошедшую ночь. Он снова является хозяином своей судьбы и едет верхом на собственном коне. Он увидал, как орлы медленно поднимаются в небеса. Один из них взлетел прямо перед ним. Лучшая из примет…

– Я слезу, – сказал он Мокки. – Совершу намаз.

Солнце уже встало.

Мокки спросил:

– А ты не повредишь рану, преклоняясь к земле?

– Не имеет значения, – ответил Уроз.

– Аллах милостив к страждущим, – настаивал Мокки. – Старый Турсун знает это: при том, что он такой набожный, он все же молится стоя. А ты можешь помолиться в седле.

Вот теперь-то, после этих слов, уже ничто на свете не могло помешать Урозу действовать так, как он решил. Равняться с отцом в инвалидности он никак не желал.

Опершись здоровой ногой на стремя, он перенес другую ногу через круп Джехола, держась за холку, выпрямился и вынул ногу из стремени, опустил ее на землю, согнул в колене, коснулся двумя ладонями земли и только после этого выпрямил переломанную ногу. Касаясь лбом земли, он вложил в молитву всю свою веру и все свое суеверие.

Распростертый позади него *саис* с детской доверчивостью повторял вполголоса священные слова молитвы.

Уроз выпрямился первым и начал повторять в обратном порядке все движения, которые он совершил, опускаясь на землю. Убедившись в своих возможностях, он поднялся слишком быстро. Слишком. Сломанная нога коснулась земли, и часть веса тела перенеслась на нее. Это продолжалось какую-то долю секунды, и давление на ногу было совсем слабым. Но этого оказалось достаточно. В сломанной кости послышалось некое подобие хруста. Дикая боль насквозь пронзила Уроза, и он подумал: «Ну, это уж слишком. Сейчас я упаду». Но он не обмяк и не позвал Мокки на помощь, а схватил Джехола за гриву, подтянулся на руках, вставил в стремя здоровую ногу и перебросил другую, нехорошую ногу, на другой бок лошади. Потом сквозь зубы произнес:

– Затяни повязку потуже, Мокки.

Прежде чем затянуть повязку, *саис* ощупал голень.

– Я чувствую острие сломанной кости, которое торчит из кожи.

– То, что случается после молитвы, не может причинить вреда, – отвечал Уроз.

И улыбнулся своим волчьим оскалом. У него опять появился повод бороться – на этот раз с болью. До этого она не сильно беспокоила его, как бы оставляла его в покое. Теперь же она будто пилой пилила по нервам. Бороться с ней, побеждать ее, игнорировать страдания – вот чем он был теперь занят.

Уроз крикнул:

– Садись скорее на круп!

Джехол пустился в путь с радостью.

«Он скакал во время *бузкаши* лучше всех других коней! – подумал Уроз. – А с середины ночи везет на себе без передышки двух мужчин, да еще по такой дороге. И не заметно у него ни усталости, ни раздражения!» Уроз потрепал рукой по боку Джехол а. Конь фыркнул и зашагал еще быстрее. Вдруг он вытянул шею, пошевелил ушами, громко втянул ноздрями воздух. Бока покрылись легкой испариной. Походка его стала более осторожной, более внимательной.

– Наверно, почуял какого-нибудь зверя, – предположил Мокки.

Уроз направил Джехола чуть в сторону от тропы, петляющей среди голых острых темных скал. И тут оба мужчины тоже услышали шум и поняли, что прямо перед ними, за складками местности, проходит дорога, ведущая на север. Единственная дорога, ведущая через Гиндукуш в степные районы. Только по ней могли туда попасть жители всех центральных, южных и восточных провинций, жители Кабула и Пешавара, Гардеза, Газни и Кандагара.

* * *

Вокруг царила осень, заканчивался пятимесячный период засухи. И хотя было еще совсем раннее утро, от бесчисленных колес, ног, копыт и лап уже поднималась легкая, тонкая пыль, образуя полупрозрачную завесу с завихрениями, которыми лучи солнца, пробивавшиеся сквозь пыль, играли почти так же, как в иных местах они играют поутру, пронзая сетку тумана. В этом облаке летучей пыли катили, шли, текли густым потоком машины, люди, животные.

Никаких правил обгона, никаких предписаний относительно разъезда при встречном движении тут не существовало. Все было пущено на волю случая, благодушия, гордыни, скромности, беззаботности, все тут полагались на судьбу.

Шум стоял в этом хаосе соответствующий. Людские голоса, ржание лошадей, блеяние овец, вопли ослов, лай собак, свист, сигналы машин, рычание моторов – все сливалось в один голос; пешеходы, всадники, пастухи, шоферы грузовиков, караванщики кричали на языках пушту, таджикском, хазарейском, узбекском, нуристанском, на языках племен, сменивших на этом древнем пути орды арийцев, фаланги Александра Македонского, толпы последователей Будды…

Купцы, пастухи, люди, отправлявшиеся куда-то в поисках работы и приключений или возвращавшиеся в родные пенаты, – все перемешались в этом потоке из людей разных рас, облаченных в разные одеяния, увенчанных разными головными уборами, запрягавших своих коней разной упряжью…

С небольшого возвышения у этой ведущей на север дороги Уроз и Мокки молча разглядывали этот поток, в который им предстояло влиться. Торопить Джехола они не собирались.

– А ведь мы здесь проезжали, – произнес, наконец, Мокки с наивным удивлением.

Уроз не ответил.

– Правда, ты ехал в большом красивом автомобиле Осман-бая, а я в грузовике, – добавил Мокки.

Погладив круп коня, он добавил:

– И Джехол тоже.

Уроз окинул взглядом иссохшую, словно выжженную огнем землю за дорогой: рыжую, охристую, теплого коричневого цвета. А вдали небо, такое чистое, такое чудесно светлое, опиралось своими краями на неподвижные волны гор. Глаза Уроза вернулись к дороге, к ее движению, к ее шумам…

Мокки увидел, что он подбирает плечи, собирает в руках уздечку.

Джехол стал медленно, осторожно спускаться с пригорка. Когда он спустился, Уроз коротким гортанным криком приказал ему войти в пестрый, шумный, неровный поток.

В первый момент степные всадники думали лишь о том, как бы не дать себя оглушить, зацепить, унести. Но пыли здесь оказалось не больше, чем в их краях, дышать и смотреть было тоже не труднее. А уж толкотни и грубости вокруг было гораздо меньше, чем во время *бузкаши.*

Через некоторое время раздался веселый хохот *саиса.* Мокки сказал Урозу:

– А ты знаешь, мне даже больше нравится ехать вот так. В том ящике на колесах, который привез нас в Кабул, ничего не было видно по сторонам, и к тому же я все время боялся за колени и бабки Джехола из-за толчков и дерганья машины.

Уроз ничего не ответил. Он думал о том, как еще далеко до Меймене, думал о солдатах и полицейских, которые, должно быть скакали, пытаясь его настигнуть. Только гордость мешала ему ежеминутно оглядываться, как убегающему от погони человеку.

– Джехолу тоже так лучше, – продолжал Мокки.

Жеребец сам приучался к новым правилам игры на большой афганской дороге, к пробкам, завихрениям, затишью, пустотам и толкотне, он уступал, подталкивал, объезжал, обгонял.

А дорога, подобно огромной книге с картинками, показывала им свои чудеса.

– Смотри, смотри! – кричал то и дело восхищенный Мокки.

Вон спускаются с летних пастбищ Нуристана стада коз, какие они черные, лохматые, веселые, какой у них гордый вид! А у юного чабана глаза-то голубые.

А вон идет слепой изможденный старик в лохмотьях, – Джехол чуть было не толкнул его грудью; этот старик идет один среди запруженной дороги, выставив вперед руки, будто крылья, идет, закинув голову назад, белки глаз подняты к солнцу, а он его и не видит: куда он так идет?

Вот едет телега с деревянными колесами, которую тянет пара быков, а в телеге сидят упакованные с головы до пят в непроницаемые одежды женщины. На лицах – паранджа.

Там бродячий музыкант тащит на спине свой громоздкий, тяжелый струнный инструмент, совсем не похожий на легкие домбры, звуки которых были так знакомы Мокки с детства.

Дальше два индуса-купца идут пешком рядом с мулами. Между вьюками – сундук без крышки, а в нем ткани, шелковые и хлопчатобумажные, посуда, ножи, и весь этот прилавок-витрина раскачивается на ходу.

А еще дальше – бродячие фокусники, дервиши, пилигримы или какие-то явно очень богатые люди, направляющиеся на соколиную охоту с хищными птицами на руке.

А еще грузовики.

Все машины – и самые хилые, и новые, мощные, были обклеены, как наверху, начиная с ветровых стекол, так и по бокам, со всех сторон, яркими, красочными картинками с изображениями отдельных цветов, букетов, деревьев, птиц, животных. Глядя на картинки, Мокки хохотал от радости. Он восхищался создавшими их неведомыми художниками. Он видел в них хорошее средство против усталости и неизбежных в путешествии неожиданных неприятностей.

– Смотри, смотри! – то и дело кричал он Урозу.

Но тот не отвечал. И глаза Мокки возвращались к чудесным картинкам. Грузовики, конечно, вещь отличная, но они ехали слишком быстро. Не разглядишь все как следует… То ли дело караваны… Слава Пророку, хоть караваны двигались со скоростью человека, причем человека неспешащего. Люди и животные в них не жалели времени на дорогу… Их можно было как следует разглядеть.

– Смотри, смотри! – говорил Мокки Урозу.

Но Уроз не хотел ничего видеть. Не ребенок же он, который кричит, не в силах утаить свою радость при виде любой новинки. Ну и что, что кругом то и дело обнаруживали себя невиданные чудеса незнакомой земли. У него была лишь одна забота: проехать ее поскорее, уехать от нее и у себя, в родном краю, вернуться в свой мир. В этом хаосе, царившем на дороге, Уроз видел только одно удобство: безопасность. Ведь среди этих движущихся людей, стад, грузовиков и караванов он был теперь подобен травинке в степи! И даже пыль, даже крики на дороге были его сообщниками. Они укрывали его, обволакивали, прятали и защищали. О своих врагах в Кабуле он уже больше не думал…

* * *

День достиг своего апогея, жара стала совсем нестерпимой. Небо поблекло, горы потеряли окраску, на земле не осталось никаких теней. От жары пыль превратилась в некое подобие раскаленной золы.

Количество путников сильно уменьшилось. Кочевники устраивали стоянки рядом с дорогой, не устанавливая палаток, и вместе с навьюченными верблюдами пережидали жару, чтобы с первыми признаками прохлады вновь двинуться дальше.

Эти чайные дома были расставлены по обе стороны дорог. При въезде в селения, большие и малые, всегда стояла *чайхана,* чаще – несколько.

Где бы они ни находились, какие бы ни были их размеры, как бы хорошо или плохо они ни снабжались, примитивное их обустройство осталось таким же, как много веков назад, таким, к какому привыкли сменявшиеся поколения путников и караванщиков Средней Азии. Кубический саманный дом, побеленный известкой, а в нем – темная комната. В фасадной стене – узкие, без какой-либо тщательности сделанные отверстия, выходящие на главную часть *чайханы:* земляное возвышение под навесом, обрамленным высохшими листьями когда-то зеленых вьющихся растений. Поддерживающие все это грубые, почти не отесанные, кривые столбы.

Старые, изношенные до дыр паласы, прикрывающие землю. Еще какое-то тряпье цвета пыли. Вот и все.

Но эта бедность никого не печалила. Она была одинакова для всех, как и прием хозяев. В чреве огромных самоваров пела, закипая, вода. Вдоль побеленных стен блестели на полках чашки. В крохотных клетках попискивали перепелки. Фасады домов были расписаны наивными яркими цветами и арабесками. И повсюду, на фоне гигантских гор и деревьев, среди рек и долин, чувствовалась атмосфера дикой, полной свободы.

* * *

Солнце казалось навсегда, до скончания дней повисшим в зените своей орбиты. Двигавшиеся еще кое-где люди и животные едва передвигали ноги. Но Джехол, хотя и вез на себе двоих всадников, хотя бока его покрылись потом, шел по-прежнему споро, не меняя скорости.

Проезжая мимо то одной, то другой *чайханы,* Мокки видел путников, отдыхавших в тени навеса, до него доносились запахи шашлыка и яичницы на бараньем жире, он слышал позвякивание чашек, наполненных, как он знал, в зависимости от вкуса клиента, то зеленым китайским чаем, то черным индийским. Все его крупное тело страдало от жары, от жажды, от голода. Ему хотелось, наклонившись к плечу Уроза, крикнуть:

– Давай сделаем, как все! Давай же, наконец, остановимся!

Но он стыдился признаться в своем нетерпении, стыдился своей усталости перед человеком старше его по возрасту, менее сильным, да еще и раненым. Тогда он стал прибегать к хитростям, которые казались ему очень удачными, и говорил:

– Посмотри, Уроз, в этой *чайхане* есть говорящая птица, заморский дрозд.

Или, например:

– Смотри, смотри, Уроз, вон самовар, по-моему, это самый толстый из всех, которые мы только видели.

Или еще:

– Вон там люди из грузовика вышли, такие, наверное, диковинные истории рассказывают!

Но все усилия оказывались напрасными. Сидя будто влитой в седле, сжав губы, Уроз по-прежнему направлял коня прямо перед собой по опустевшей, огнедышащей дороге. При этом он страдал от жары и жажды гораздо сильнее, чем Мокки. Рана давала себя знать. У Уроза усилился жар, и он все сильнее жег ему кожу, внутренности, горло. Нога все тяжелела и тяжелела, а боль становилась все нестерпимее. Когда же, чтобы нога не казалась такой тяжелой, он заносил ногу в стремя, возникало вообще ощущение, будто кости разлетаются на куски. Тряпка, прикрывавшая рану, превратилась в скользкий, покрытый пылью комок, вокруг которого роились огромные мухи.

На подъезде к каждой чайхане Уроз чувствовал, как откуда-то из глубин костного мозга возносится нечто вроде молитвы: скорее уйти под навес, спрятаться от солнца, растянуться на ровной поверхности, снять с ноги дикую тяжесть и пить, пить, пить сперва прохладную воду из глиняного кувшина, а потом горячий черный чай, очень сладкий и бодрящий. Но именно оттого, что зов страдающей плоти был так силен, Уроз отказывался внимать ему. Более того: он испытывал жестокую радость от своего оскорбительного невнимания к нашептываниям этого внутреннего голоса. Горячее раскаленного неба и внутреннего жара жгло его желание доказать своему телу, что, как бы ни были сильны страдания, все же не оно, а он здесь хозяин. Что он может заставить свое тело сидеть в седле вечно, страдать без надежды на снисхождение.

Подъем, спуск… снова подъем. Уроз правил Джехолом, словно перед ними простиралась вечность…

Вот они подъехали к более крутому, чем до этого, подъему. Мокки спрыгнул на землю и пошел рядом с конем. «Он понял, что Джехол устал», – мысленно сказал себе Уроз. Разумеется, конь шел по-прежнему ровно. Но дыхание его едва заметно участилось, а походка стала чуть напряженнее. Уроз сжал зубы. Он не отступится. Он не сменит тот бескрайний, ничем не ограниченный мир, которого он достиг одной своей волей, на мир, по-прежнему подчиненный ограничениям. Он заставит Джехола продолжать путь, как он заставляет самого себя продолжать до той цели, у которой нет предела, до полного распада и самоуничтожения. Но потом самый сильный инстинкт Уроза, его воспитание, традиции его народа, его степь – все восстало, объединившись против него. Мужчина из Меймене, наездник, *чопендоз* не имел права так поступать со столь благородным конем, каковым был Джехол.

– Мокки, – произнес Уроз вполголоса, – найди для коня самую лучшую *чайхану*.

Когда Мокки сделал, наконец, свой выбор, движение на дороге успело несколько оживиться. В стороне от дороги, в низине, расположился большой, напоминавший сердце своими очертаниями, кишлак, посреди которого протекал ручей. *Чайхана* располагалась на самом острие «сердца». Была она похожа на все другие заведения такого рода, но у самой ее террасы протекал чистейший горный поток, орошая небольшой сад из нескольких ив.

Уроз направил туда коня и, когда тот остановился, не стал опираться на плечо, подставленное Мокки, спрыгнул на здоровую ногу.

– Не надо, – сурово отверг он услуги мальчика-слуги, подбежавшего с ватным матрасиком.

Потом приказал Мокки:

– Займись лошадью!

Когда *саис* вернулся, Уроз лежал совершенно неподвижно на красноватой земле. Руки его были вытянуты вдоль туловища. Если бы не подрагивание век, его можно было бы принять за мертвеца.

Мокки стало стыдно за то, что он так вот бросил Уроза, страдающего от жажды, а сам напился прямо из ручья, жадно припав к воде рядом с мордой Джехола. Он крикнул:

– *Бача*… срочно сюда… Сейчас я позову…

– Только ты и никого больше, – шепотом произнес Уроз.

Любое постороннее лицо, любой чужой голос были ему невыносимы. Как только он вытянул сломанную ногу на свежей глине садика и расположил тело так, чтобы поменьше болела рана, Уроз получил от контакта с землей, от ручья с его журчанием, от дерева с его тенью такой заряд блаженства, что ему уже ничего не хотелось ни от кого-либо, ни, в первую очередь, от самого себя.

– Сейчас, сейчас… я тебе обещаю… ты сейчас все получишь… – воскликнул Мокки.

И побежал во внутреннее помещение *чайханы*.

– Ладно, ладно… – тихо сказал Уроз. Единственным его желанием было как можно скорее вкусить это удивительное счастье – перестать существовать и знать об этом. Но человеческое тело не позволяет слишком долго игнорировать его требования. Когда Мокки приподнял голову Уроза и поднес к потрескавшимся губам голубой исталифский кувшин, полный воды, Уроз опустошил его, не отрываясь, и отрывисто, даже грубо потребовал: «Еще!» А когда он утолил жажду, его стал терзать голод. Он с жадностью стал раздирать теплые, мягкие, тонкие лепешки, принесенные Мокки, заворачивал в них горячие жирные куски шашлыка, сорванные с шампура, и жадно, как волк, поедал. Едва насытившись, он почувствовал смертельное желание немедленно уснуть и действительно заснул, прислонившись спиной к стволу ивы.

Только после этого Мокки уселся рядом с ним по-турецки на землю и тоже стал есть. Он не отрывал от Уроза взгляда и после каждого глотка покачивал головой со счастливым выражением лица. Как же он хорошо поел, Уроз! Как же он крепко спит!

Мокки всю свою жизнь был слугой, работал то чабаном, то конюхом, всю свою жизнь он был обязан ухаживать за животными и людьми. Поскольку он был по натуре добр и физически силен, то не уставал радоваться жизни. Баран, нагулявший, благодаря его уходу, много жира и шерсти, конь, ставший гладким и сильным, в полной мере удовлетворяли его самолюбие и его потребность в нежности.

С такой же нежностью и гордостью смотрел он на спящего Уроза. Он не задумывался над тем, любит ли он его, как не спрашивал он себя и о том, любит ли он Джехола, когда почищенный скребницей, накормленный и напоенный им жеребец засыпает на свежей, приготовленной им подстилке. И вот сейчас, покачивая головой и улыбаясь всем своим почти безусым широким лицом, в узких глазах которого светились преданность и радость доброго веселого парня, Мокки думал о том, что доставил бы Уроза в родные степи Меймене целым и невредимым, даже если бы ему пришлось нести его до дома на руках.

* * *

Жара постепенно спадала, небо слегка потускнело. В листве дерева, под которым спал Уроз, послышались первые, пока еще совсем негромкие голоса невидимых птиц, возвещавшие приближение вечера.

А Уроз все спал. Разбудил его шум, когда в *чайхану* ввалилась большая группа вышедших из автомобиля людей. Они приехали с севера в старой, буквально держащейся на честном слове машине и стали заказывать одновременно кто черного чаю, кто зеленого голосами, осипшими от дорожной пыли и гуляющих по горным перевалам Гиндукуша ледяных ветров.

Не открывая глаз, Уроз потянулся, пошевелил сначала руками, потом здоровой ногой. Осторожно попробовал, как двигается другая нога. Острая боль тут же дала о себе знать. Но это уже была привычная, послушная ему боль, как бы ставшая частью его самого. Уроз с облегчением вздохнул. Он чувствовал себя хорошо. Усталость прошла. Преследовавшие его страхи и чувство стыда тоже исчезли.

В листве над его головой все громче, все слаженнее звучал хор пернатых, аккомпанировавший мыслям Уроза, который пришел к выводу, что в конечном счете его падение было случайностью, досадной случайностью. Конечно, из-за нее ему не удалось выиграть Королевский *бузкаши.* Но теперь ведь такие игры будут проводиться каждый год. Главное – поскорее добраться до родных мест и выздороветь. А там видно будет… Он остается все тем же Урозом, и к тому же теперь ему принадлежит Джехол.

Тут он открыл, наконец, глаза и встретился взглядом с *саисом,* сидевшим на корточках напротив. Он произнес умиротворенно:

– Я хорошо поспал, Мокки.

– Клянусь Пророком, ты прав, – воскликнул *саис.* – А сейчас ты получишь самый черный, самый горячий и самый сладкий чай, какой только бывает, чтобы взбодрить кровь человека! Бегу, бегу за ним.

Уроз взглянул на гигантские горные вершины и на небо над ними. По мере того как солнце садилось, все принимало свой изначальный цвет, все оживало. Небосклон словно вибрировал всеми оттенками голубизны, а на склонах гор появлялись там и сям алые краски, предвестники пурпурных сумерек.

Но Урозу, привыкшему к бескрайними равнинам, не нравились эти каменные стены вокруг. Они приближали горизонт, зажимали его в скалистые тиски. Опустив взгляд, он вернулся в свой привычный мир. *Чайхана* в степи, *чайхана* в горной долине, *чайхана* на головокружительном перевале, обдаваемом ледяным дыханием вершин и ущелий, и даже *чайхана* в безводной и безжизненной пустыне – это всегда все равно *чайхана,* всегда один и тот же приют для путника. Та же негромкая песня великана-самовара из красной меди, тот же запах

бараньего жира, тот же аромат душистого чая, те же крики слугам-мальчишкам. Здесь Уроз чувствовал себя, как дома.

Да и путники, сидевшие тут и там по-турецки, были ему не совсем чужими. Купцы из Кандагара, ездившие закупать кожи каракуля и мерлушки в Мазари-Шариф и ковры в Меймене, – он часто встречал точно таких же в этих двух провинциях на базарах, на террасах постоялых дворов и узнавал их по особой свойственной им манере завязывать чалму и по длинным бородам, обильно сдобренным хной.

Саис вернулся с подносом, уставленным чайниками и чашками, и присел напротив Уроза.

– Джехол устал еще больше, чем ты. Спит до сих пор.

– Ему надо как следует отдохнуть. Мы двинемся дальше только завтра, – сказал Уроз.

Он посмотрел на усталые глаза Мокки, покрасневшие от пыли, солнца и бессонной ночи, на дырявый, состоящий практически из одних лохмотьев *чапан,* до смешного короткий на его длинном теле, и подумал: «Мне давно уже надо было купить ему другой».

Уроз при этой мысли не задавался вопросом, любит ли он Мокки, но на этот раз его улыбка не походила на волчий оскал.

* * *

Чай они пили, шумно втягивая его в себя вместе с воздухом, поскольку он был очень горячий. К тому же так он казался им более вкусным. Наслаждались чаепитием они молча. Тем временем птичий гомон в ветвях ивы становился все громче. Тень от дерева добралась уже до плеч Мокки. А косые лучи солнца, проникавшие под навес, придавали яркости и красномедному цвету самоваров и красочной посуде, и ярким рисункам на побеленном фасаде дома.

Кандагарские купцы закончили трапезу и расплатились. Хозяин *чайханы* вышел проводить их. Это был очень подвижный седобородый старичок, походивший из-за своего вытянутого профиля, седоватых волос и живого выражения глаз на серую мышь. Он сказал:

– Дорога дальше хорошая и надежная, и вы скоро будете в Кабуле. Жалко все-таки, что вы опоздали на один день. Вчера в это же время там состоялся Королевский *бузкаши.*

Услышав эти слова, Мокки вздрогнул и открыл рот. Резким жестом Уроз заставил его молчать и не шевелиться. Потом провел рукой себе по лбу. Возможно ли? Вчера! Только вчера!

Хозяин *чайханы* продолжал со вздохом и явным сожалением в голосе:

– Люди-то в Кабуле, небось, только об этом и говорят. Вот будет интересно послушать!

Старейший из купцов, судя по длине и обильной окраске бороды, ниспадавшей на богатые одеяния, возразил так, будто его уязвили в самом его достоинстве:

– Будь спокоен, меня они не удивят. Бедняги! До вчерашнего дня ждать своего первого *бузкаши.* В то время как я… Такого, как видел я, они никогда не увидят!

– Расскажи, о почтеннейший, расскажи и нам! – стал упрашивать хозяин *чайханы.*

И, не дожидаясь ответа, повернулся к террасе с криком:

– *Бача!* Эй, *бача!* А ну, неси сюда поживее мои подушки, *мой* чай, *мои* печенья, *мое* варенье.

Толстый купец медленно погладил свою огненную бороду, словно колеблясь, но ноги его уже начали медленно складываться, готовые вот-вот превратиться в сиденье. Спутники его последовали его примеру.

Нет, не успеть им к назначенному часу в Кабул. Такое здесь дело! Время проходит… А хороший рассказ остается.

* * *

Все необходимое – чашки, чайники, угощения и сладости – были тут же принесены, расставлены и разложены перед всеми. Оба *бачи* не меньше хозяина хотели услышать рассказ. Обслужив, они тоже уселись по-турецки в круг любопытных.

А между тем кандагарский купец не спешил. Спешить не полагалось по этикету, да и надо было разогреть любопытство. Он с наслаждением попил чаю с медовым печеньем, отведал варенья на бараньем жире и поблагодарил хозяина. Выдержал паузу. Затем обеими руками провел по своей огненной бороде. Все приготовились слушать.

– Много-много лет тому назад, – сказал он, – отправился я раз верхом, как все в ту пору, в поездку по северным провинциям. Хотелось купить самые лучшие шкурки каракуля. Это оказалось делом нетрудным. В Меймене они все отличные. Моим партнером был Осман-бай, богатейший и честнейший во всей округе человек.

Прислонившийся к дереву Уроз и Мокки, сидящий на собственных пятках, обменялись долгим взглядом. Осман-бай! Услышать его имя так далеко от дома!

Купец продолжал:

– Так вот, в ту пору Осман-бай женил своего младшего, своего любимого сына. Люди добрые! Что это был за праздник! (Тут рассказчик вознес глаза к небу, а борода его колыхнулась, словно язык пламени на ветру.) Что за свадьба! Она продолжалась семь дней и семь ночей. К Осман-баю в гости съехались губернаторы и генералы из трех провинций. И вожди племен – тоже. Некоторые приехали даже из Ирана.

А на седьмой день праздника им показали *бузкаши.*

Финиш, или Круг справедливости, как они испокон веков его там называют, – вы-то об этом услышали только вчера – этот самый Круг справедливости находился напротив того места, где сидел Осман-бай и его самые именитые гости. У ног его были свалены шелковые *чапаны,* драгоценные ковры, инкрустированные серебром ружья. А чуть в стороне чабаны сторожили каракулевых овец и породистых верблюдов, украшенных помпонами и перьями. И все это – *чапаны,* ковры, оружие, скот – все предназначалось победителю игр и наездникам, которые проведут самые блестящие атаки и покажут самые интересные приемы.

– Возможно ли такое? Раздавать столько богатств? – воскликнул хозяин *чайханы.*

В ответ купец только возвел к небу свои огромные карие глаза, обведенные краской. Ну что можно сказать по поводу такого невероятного невежества?

Мокки прошептал на ухо Урозу:

– А ты знаешь, он ведь говорит правду. Свадьба состоялась как раз в тот год, когда я родился и…

– Молчи, – ответил Уроз беззвучно, одними губами, побелевшими от волнения.

Ну как можно быть таким глупым и ничего не понимать? Он даже не почувствовал, как при имени Осман-бая пришла в движение какая-то могучая сила и что теперь надо было только внимательно, от слова к слову, следить, улавливать, подстерегать ее приближение.

– Перед началом состязания, – продолжал рассказчик, – с десяток наездников в старых чапанах и круглых шапках с оторочкой из лисьего или волчьего меха подъехали поприветствовать Осман-бая. Это были его *чопендозы.* С ними был один человек, вид которого меня удивил. Он весь был седой с лицом, покрытым морщинами. Передвигался он с трудом, что свидетельствовало о неоднократном переломе у него костей. На лице его сохранялись следы старых шрамов. Среди молодых и гибких всадников он выглядел не на месте. Я спросил у соседа: «А этому сколько лет?» И тот ответил: «Столько, сколько надо, чтобы вон там, среди *чопендозов* нашего хозяина, мы могли видеть его сына». «Ах вот оно что! – сказал я. – Значит, старик не

участвует в *бузкаши».* «Участвует, как и все остальные, – ответил мой сосед. – Вся разница состоит в том, что он сидит на своем собственном коне».

Кандагарский богач, увлекшись воспоминаниями юности, резким взмахом развел руки в стороны от бороды.

– Так вот, в первой же схватке, – воскликнул он, – клянусь Пророком, этот старейший из *чопендозов* доказал, что он является одновременно и самым опасным. Во всех баталиях он был всегда в самой гуще борьбы и ближе других к туше козла. А конь его превосходил всех остальных и в силе, и в резвости, и в сообразительности… Да, друзья мои, уверяю вас, что этот старый наездник был прекрасен и на него было приятно смотреть. А поскольку Осман-бей, гостеприимство которого было беспредельно, велел оседлать для меня лошадь, я смог вблизи наблюдать за стариком в течение всей игры.

– Велик Аллах и велик Пророк его, – сказал хозяин *чайханы.* – Ну, а дальше, дальше-то что?

– Если бы я стал все рассказывать, то никогда бы не закончил, – сказал кандагарец. – Много часов прошло, и много верст они проскакали, много коней уже гуляли на свободе, чьи хозяева валялись в степи, выбыв из игры, раненые и покалеченные, когда старый *чопендоз* завладел тушей козла. Но что интересно, он не стал пытаться, как остальные, державшие тушу до него, вернуться и прорваться к Кругу справедливости. Он поскакал прямо вперед. А поскольку конь его был самым резвым и самым выносливым, то он увлек за собой в бесконечную степь и всех остальных.

Сложился ли у него в голове такой план заранее? Возможно, что и так: ведь он знал местность лучше других. Или же он просто воспользовался случаем? Не знаю, не могу сказать. Но вот как все было… В степи вдруг появилась одинокая пастушеская хижина, и он придержал коня. Другие тут же подскакали к нему. И вот тут старик впервые подстегнул лошадь, и они понеслись к домику с такой скоростью, что я было уже подумал: ну вот, сейчас разобьются о стену. Но в последний момент жеребец вдруг взмыл в воздух и полетел, да-да, полетел и опустился на плоскую крышу хижины.

У кандагарца пересохло в горле. Он захотел налить себе чаю. Но чайник оказался пуст. Молоденький слуга помчался к самовару с криком:

– Ради Аллаха и его Пророка, подожди меня, не рассказывай дальше.

Уроз неподвижно сидел с закрытыми глазами, с застывшим лицом, с окаменевшим телом. Только плетка в судорожно сжимавших ее рукоять пальцах слегка извивалась, будто умирающая змея.

– Вот, достойнейший господин, пейте, – сказал *бача,* вернувшийся с чаем.

Кандагарский купец напился и продолжал:

– Да, тот прыжок, какой совершил старый чопендоз на своем жеребце, был поистине необыкновенен. Лучшие всадники трех провинций на лучших конях того края напрасно попытались, но не смогли повторить того, что сделал он. Многие не сумели вовремя свернуть и разбились с размаху о стену дома. Другие же рванулись, заставили своих лошадей прыгнуть, но ни одна из них не обладала такой сноровкой и силой, как его конь. Многие лишь покалечили своих скакунов. А тех, кто подскакивал до уровня крыши, старый *чопендоз* ударом плети по лицу отбрасывал назад. А некоторых, чтобы поиздеваться над ними, бил просто мохнатой тушей козла, что приводило их в бешенство.

Но победителем старик в этот момент еще не был. Десятки уцелевших наездников на здоровых лошадях окружили дом, как стая волков окружает жертву, достать которую она еще не может, но уже не сомневается, что достанет.

Тут сын старого всадника крикнул изо всех сил:

– Что я могу сделать для тебя?

– Ждать, – отвечал отец, поглаживая по шее своего взмыленного скакуна.

Ах, друзья мои! Я и сейчас еще вижу ту степь в лучах заходящего солнца. Вижу одиноко стоящий домик. А на нем – великолепного скакуна и старика с иссеченным шрамами ужасным лицом.

– Вижу, и я тоже вижу! – воскликнул хозяин *чайханы,* – Но что было потом?

– Он стал насмехаться над теми, кто был внизу, оскорблять их, доводя до бешенства. При этом он поворачивал коня то в одну, то в другую сторону, словно хотел подхлестнуть его и броситься вниз. И всякий раз *чопендозы* кидались из стороны в сторону. А он, внимательно наблюдая за их перемещениями, вдруг увидел, что в том месте, где находился сын его, кольцо окружавших оказалось тоньше, чем повсюду, и он крикнул:

– Освободи проезд, сынок!

И юноша накинулся на ближайших к нему всадников, не жалея ни их, ни себя. Всего лишь на одно мгновение ему удалось образовать брешь. И старый *чопендоз* великолепным прыжком соскочил с крыши, и конь его ветром помчался по степи.

В конце концов он без помех доскакал до цели и победил.

Кандагарский купец откинулся на подушки, сложил на животе руки, покрывая их медно-рыжей бородой и поглядывая на слушающих, покашливал от удовольствия. По их лицам он видел, что рассказ произвел впечатление.

Наступила пауза, после которой они наперебой закричали:

– Да продлит Аллах твои дни за то, что ты рассказал нам все это.

Мокки посмотрел на Уроза и испугался. Тот прикрывал себе глаза правой рукой, словно от лучей солнца. Но солнце уже успело опуститься за гору. Наступили сумерки.

– Тебе плохо? – шепотом спросил *саис.*

И тут тоненьким от любопытства голосом хозяин *чайханы* спросил:

– А как звали того старого *чопендоза,* ты помнишь, о достойнейший?

– Пока я буду жив, я сохраню в памяти его имя, – ответил кандагарец.

Уроз опустил руку.

– Его звали Великий Турсун, – сообщил купец.

– Великий Турсун, – воскликнул с почтением чайханщик.

– Великий Турсун, – повторили купцы.

– Великий Турсун, – откликнулись слуги. Самый младший из них скромно спросил:

– А ты помнишь имя сына, который так хорошо помог отцу?

Купец посмотрел на мальчика, помотал своей огненной бородой и сказал:

– Знай, о *бача,* что память, чтобы оставаться хорошей, не должна засоряться второстепенными именами.

Путники направились к автомобилю. Их провожал хозяин *чайханы.* Слуги убрали посуду и остатки еды. Странная тишина воцарилась в начавшем погружаться в ночь саду. Мокки изнемогал от усталости. Он мельком взглянул на Уроза. У того лицо было напряжено до предела. Глаза его блестели, как у помешанного.

– Я лягу спать рядом с тобой, чтобы тебе было теплее, – предложил Мокки.

– Сейчас ты оседлаешь Джехола, – ответил Уроз.

– Но ты… ты же сказал… – забормотал *саис.*

– Я сказал: иди седлать Джехола.

Голос Уроза оставался тих и спокоен. Но интонация была повелительной. Мокки поплелся к лужайке возле ручья, где стоял конь. Он шел медленно, ноги его были, как ватные.

– Быстрее! – крикнул Уроз.

Никогда, никогда не думал он, что бывают такие страдания, какие он пережил в этой *чайхане.* Теперь и садик, и ручей, и деревья, и гомон певчих птиц – все превратилось для него в муку. Все отравляло кровь, плавило мозг. Даже та ива, к которой он прислонился, жгла ему спину. И ствол ее, и ветви казались теперь уже не деревом, а человеком, непобедимым

стариком с узловатыми конечностями и переломанными костями, стариком, легенды о давних подвигах которого продолжали и по сей день пересказывать по другую сторону Гиндукуша… тогда как он, он, Уроз, вместо того, чтобы победить в первом Королевском *бузкаши,* все еще пребывал в тени отцовской славы.

Опершись на обе кисти рук, он напрягся и затем диким усилением бросил тело вперед. Он не рассчитал своих сил. Главным для него было избавиться от удушающей опеки. Сломанная кость с хрустом ударилась о землю. Дикая боль на секунду отвлекла его от каких бы то ни было мыслей. Но потом он подумал: «Уехать? Да. Это легко. Но зачем? Чтобы спокойно продолжать путь по этой вот дороге? Делать благоразумные остановки? Чтобы в каждой *чайхане* тебя догоняли на грузовиках люди из Кабула, и слышать, слышать, слышать их рассказы о Королевском *бузкаши?* А в конце пути увидеть перед собой Турсуна».

И, не отдавая себе отчет в том, что он говорит вслух, Уроз прошептал:

– Этому не бывать.

Каким волшебством? Каким чудом? Благодаря какому везению? Об этом он не задумывался. И только все повторял: «Этому не бывать».

Хозяин *чайханы,* проводив купцов из Кандагара, подошел к нему. Еще раньше, чем тот смог вымолвить хотя бы слово, Уроз спросил его:

– Ты ведь хорошо знаешь здешние проселочные дороги, так ведь?

– Конечно, знаю, – ответил хозяин. – Я в этой деревне родился.

– Тогда скажи мне, как проехать отсюда в провинцию Меймене? – спросил Уроз.

– Это очень далеко, – сказал хозяин *чайханы.* – Для нас Меймене все равно, что другой мир. Знаю только, что надо ехать через Бамиан, через долину Великих Будд. Старую бамианскую дорогу, по которой раньше ездили, я могу тебе показать, а там спросишь…

– Вот и хорошо, – сказал Уроз. – Сколько я тебе должен?

– Постой, – воскликнул его собеседник, напоминавший всем своим видом серую мышь. Взгляд его находился в постоянном движении и лишь иногда на мгновение останавливался то на измученном, впалом лице Уроза, то на почерневшей повязке на ноге. – Постой. Я должен тебя предупредить: дороги тут очень ненадежные и крутые, а ночью здесь стоит ледяной холод, и к тому же нет ни одной чайханы, как моя, вообще ничего.

– Понятно. Ну, так покажи же мне путь, – сказал Уроз.

Глаза его наконец приняли живое выражение. Чем больше препятствий возникало в его воображении, тем резвее билось его сердце.

– Так что сам видишь, – закончил хозяин *чайханы,* – лучше поезжай по большой дороге.

– Да, но в каком месте надо свернуть, чтобы попасть на старую дорогу?

От удивления бегающие глазки его собеседника остановились совсем.

– Ты что же, хочешь, несмотря… – спросил хозяин *чайханы.*

– Я тороплюсь, – ответил Уроз.

– Часто бывает, что не самый короткий путь быстрее приводит к цели, а уж тем более… – начал было его собеседник.

Но не договорил. Рядом с Урозом выросли силуэты Мокки и Джехола. И он после короткой паузы продолжил:

– Хотя верно и то, что у тебя отличный конь и сильный слуга, которые тебе помогут.

Уроз встал на здоровую ногу. Хозяин шагнул вперед, желая ему помочь.

– Не надо, – отказался Уроз.

Он вцепился в луку седла и в гриву Джехола. Мгновение спустя он был уже на коне. Мокки уселся на круп.

Хозяин *чайханы* быстро проговорил:

– Сворачивайте по тропинке налево. Она приведет вас к колодцу. Там увидите другую тропу, которая круто поднимается в гору. По ней поднимайтесь до караван-сарая на вершине. Торопитесь. Туда надо добраться до наступления темноты. А то, не дай Бог…

– Мир тебе, – произнесли одновременно Уроз и Мокки.

Джехол двинулся в путь. А хозяин *чайханы* только горестно протяжно вздохнул. Вот и эти странные путники, побывав в его саду, тоже унесли с собой какую-то тайну.

II
ТРУП

Первые отроги гор начались сразу за кишлаком. Крутая, скользкая дорога поднималась, петляя, между скалами и пропастью. Несмотря на то, что Джехол шел бодро, путники еще не добрались до караван-сарая, когда наступила полная тьма.

Мокки спешился и повел коня под уздцы. Свободной рукой он ощупывал контур скалы, к которой лепилась дорога, чтобы не сорваться в невидимую бездну.

Он вдруг произнес совсем каким-то детским голосом:

– Уроз, я боюсь.

– И Джехол тоже, – заметил Уроз. – Я чувствую это.

– Я не столько даже свалиться боюсь, – прошептал Мокки, – сколько…

– Знаю, – ответил Уроз.

Он тоже чувствовал невидимое присутствие бесчисленных существ, бесчисленных и бесформенных, с крючковатыми когтистыми крыльями, то голых, то мохнатых чудовищ, всяких привидений, духов-вампиров, птиц и пресмыкающихся с черепами вместо головы, которые ползали, летали, скользили, носились над склонами гор, над пропастью, погруженной во тьму и как бы опускающейся куда-то на дно огромного черного озера. Он слышал, как они проносились со вздохами, свистом и хохотом. Их омерзительное дыхание обдавало холодом его лицо, и порой по коже пробегали мурашки от легкого, но отвратительного прикосновения чьих-то лапок, крыльев, усиков, перьев, языков и рогов.

– Да, знаю, – повторил Уроз.

– И не боишься? – покорно спросил Мокки.

– Нет, – ответил Уроз. – Не боюсь.

И сказав так, сам настолько удивился своим словам, что даже остановил Джехола. Как? Неужели и впрямь среди всего этого ужаса в горах, ночью, он не дрогнул, не испугался? Уроз прислушался к ударам крови в висках. И с чистым сердцем снова повторил:

– Нет, я не боюсь.

– Ну, ты храбрый, – шепотом проговорил Мокки. – Второго такого в мире не сыскать.

И хотя *саис* не мог видеть его в ночи. Уроз медленно кивнул головой. Ему подумалось, что над другими людьми его возносила вовсе не смелость, а безразличие к несчастью.

Уроз снова отпустил уздечку. И когда конь зашагал, ласково потрепал Мокки по плечу.

– Пусть рука твоя останется на мне, – попросил *саис*.

И он опять принялся ощупывать контуры и неровности каменного карниза, единственного его ориентира в кромешной тьме. Так они продвигались по узкой ленточке-тропинке между стеной-скалой и пропастью, – всадник, опираясь на пешего, а пеший – прижимаясь к темному граниту.

Когда начался еще более крутой подъем, Уроз спросил:

– Ну, как твой страх, Мокки?

– Твоя рука помогает, – ответил *саис*.

Но голос его был тихим и жалким.

– Хоть бы парочку звезд увидеть.

– Скоро увидим, всему свое время, – пообещал Уроз.

И они увидели звездочку, но не на небе. Выйдя из-за очередного поворота, они вдруг увидели огонек – далеко-далеко и очень высоко, но не настолько высоко, чтобы принять его за звезду. И хотя огонек был не сильный и трепетный, он показался им ярче любого светила. В каменной пустыне, среди иссушающего душу холода, пронизывающего все тело до

мозга костей, этот огонек был отблеском людского тепла, пламенем, зажженным человеческими руками.

– Караван-сарай! – закричал Мокки.

И он выпрямился, освободившись от страха и от своих наваждений. Рука Уроза покинула его плечо. Но он этого даже не заметил.

* * *

От поворота к повороту тропа становилась все шире и превратилась в дорогу, выходящую на плато, куда сходились и другие дороги. На их пересечении стоял караван-сарай.

Внушительных размеров здание было полуразрушено. Даже в темноте было видно, что стены его плохо сохранились. Через трещины и проломы пробивался свет. Для запоздалых путников в горах свет этот казался дивным маяком и предвещал победу над тьмой, но внутри дома оказалось, что идет он от единственной лампы с закоптелым грязным стеклом. Слабое свечение не рассеивало как следует даже мрак, царивший в помещении, где вперемешку лежали люди и животные.

Уроз без труда въехал на коне через высокие обветшалые ворота. Лавируя между лежащими телами, а порой и перешагивая через них, Мокки отвел Джехола в еще не занятый угол. Приподнялось несколько голов… слабо проблеял ягненок в мохнатой массе отары. Сквозь сон проскулила собака… поднял на длинной своей шее могучий верблюд испачканную слюной морду… И все. Хотя вход в караван-сарай был не более чем распахнутой дырой, хотя крыша его сплошь зияла дырами, а стены казались беспорядочным нагромождением кирпичей, входя сюда и люди, и животные чувствовали себя наконец-то защищенными от дорожных испытаний, сбрасывали с себя вместе с грузом вьюков бремя тревог и крепко засыпали после изнурительного дневного перехода. Время от времени из мрака ночи возникал кто-нибудь новенький. Тем лучше. Чем больше народу, тем в большей безопасности они себя чувствовали.

Пока Джехол шел по огромному помещению, Уроз неподвижно сидел в седле. Он чувствовал, что если бы захотел, то еще смог бы перекинуть здоровую ногу через холку Джехола и спешиться, ступив на нее. Но для этого надо было захотеть, а он больше ничего не хотел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.